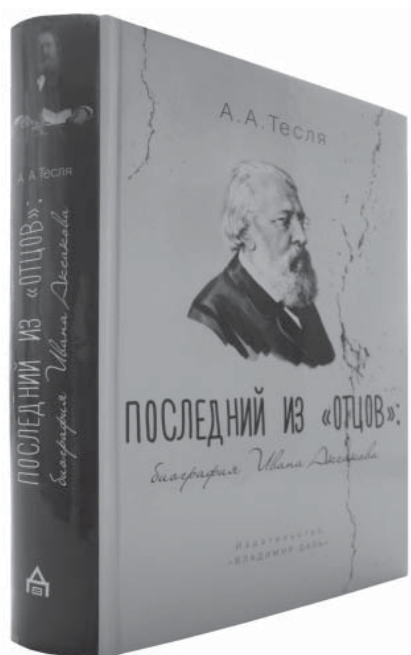


Русскость как призвание: И.С. Аксаков

{ Часть вторая }



Тесля А.А. «Последний из “отцов”»:
биография Ивана Аксакова.
СПб.: Владимир Даль, 2015. 799 с.

Часть II. Зрелость

Глава 3. «Свое дело»

Хранитель наследства
Редактор-издатель «Дня»
«Только тишина отражает небо»

{ Оглавление }

Часть I. Годы странствий

Глава 1. Молодой Аксаков
Училище Правоведения / Ревизор / Провинциальный житель /
Обер-секретарь Сената / На службе в МВД под негласным надзором

Глава 2. «Пределы... мятежу»
«Московский Сборник» / В разладе / «Русская Беседа» /
Второе заграничное путешествие / Три смерти

Часть II. Зрелость

Глава 3. «Свое дело»
Хранитель наследства / Редактор-издатель «Дня» / «Только тишина
отражает небо» / Документальное приложение А: Письма И.С. Аксакова
к А.Ф. Тютчевой (октябрь 1865, декабрь 1865 – январь 1866) / В войне
с цензурой

Глава 4. Теоретическое intermezzo
«Общество», «Народ» и «Государство» / Документальное приложение В:
Запрещенная шестая статья И.С. Аксакова из цикла «О взаимном
отношении народа, общества и государства» / «Польский вопрос»
и окрестности / Религиозные взгляды / Церковные вопросы 1860–
1880-х годов и позиция славянофилов

Часть III. «Последний из “отцов”»

Глава 5. Промежуток
Адрес Московской городской думы / Спор о славянофильстве /
Биография Ф.И. Тютчева

Глава 6. Война
Восстание в Боснии и Герцеговине, Сербская война и деятельность
славянских комитетов / Русско-турецкая война и мирные переговоры /
Речь о Берлинском конгрессе. Ссылка в Варварино / Документальное
приложение С: Письмо И.С. Аксакова к Е.Ф. Тютчевой от 3 – 6 – 7 июля
1878 г.

Глава 7. Последние годы
Документальное приложение D: Письма И.С. Аксакова к М.О. Кояловичу
(1861–1867, 1883–1885)

«Последний из “отцов”»: биография Ивана Аксакова (фрагмент)

Часть II. Зрелость

Глава 3. «Свое дело»

1860-е годы для И.С. Аксакова – период наибольшей творческой активности, то время, когда он не только приобретает известность у широкой публики, сумев снискать в ее глазах ту репутацию, которая останется с ним до конца дней, но и становится «самим собой», находит себя. Впрочем, всякое «нахождение себя» до некоторой степени условно – обстоятельства делают нас, и мы опознаем себя среди них.

С конца 1860-х годов возможности для публичного заявления своей позиции окажутся крайне стеснены – двенадцать лет Аксаков не будет иметь своего издания, публикации в других местах будут ограничены, да и в большинстве случаев не вполне приемлемы для него, привыкшего высказываться свободно и быстро, отзываясь на текущие вопросы, стремящегося действовать не столько отдельным выступлением, сколько совокупностью текстов – создавая не замкнутое изложение своих взглядов, а обрисовывая их через массу отдельных реплик, статей, комментариев, посредством собственных и чужих текстов. Собственно, на протяжении жизни он был редактором газеты одиннадцать лет, если исключить недолгий опыт «Паруса» и попытку взять под свое начало «Молву»: четыре с небольшим года – «День», неполных два года (с большими разрывами) – «Москва» (и «Москвич») и пять лет – «Русь». Если в качестве критерия использовать продолжительность тех или иных занятий, то Аксакова можно было бы скорее назвать банкиром – во всяком случае руководящие должности в Московском обществе взаимного кредита он занимал семнадцать лет, причем целое десятилетие был его председателем; чиновником ему довелось быть восемь лет – с 1843 по 1851 год, при этом чиновником деятельным, отдававшимся службе с рвением и увлеченностью, избыточными для достижения успехов на этом поприще.

Но «своим делом» для него с начала 1860-х годов и до самой кончины станет публицистика – вопрос будет стоять лишь о том, как, каким образом это «свое дело» осуществлять, какое место найти ему в существующих условиях. Но вопрос о том, что является его «делом» – и кем является сам Аксаков – будет для него определен окончательно. В 1878 году, готовясь к произнесению скандально известной речи по поводу Берлинского конгресса, он напишет свояченице, Екате-

Тесля Андрей Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск).
E-mail: mestr81@gmail.com



рине Федоровне Тютчевой: «Я большую часть жизни был <...> публицистом, продолжаю быть им и в звании председателя Московского слав[янского] комитета, пишу и читаю свои передовые статьи в форме речей. Это дело для меня не есть что-то исключительное, новое, но самое привычное, такое, без которого мне и обойтись трудно, – дело моей профессии, и издавай я газету, я бы, вероятно, не произносил и речей» [Бадалян, 2013: 369, письмо от 3–6–7.VI.1878].

Хранитель наследства

Начиналась, однако, история главного аксаковского издания – «Дня» – в ситуации, далекой от «выбора своего призвания»: оно было в первую очередь актом памяти и вынужденным поступком. Похоронив брата, Аксаков обнаружил себя в ситуации, когда никакого прямого дела перед ним не стояло, – славянофильский кружок почти распался, оставшиеся в живых его участники не только за последние годы сильно разошлись во взглядах (в первую очередь на крестьянский вопрос – о чем речь ниже), но и оказались вовлечены по отдельности в разнообразную практическую деятельность – последний совместный проект, издание «Русской Беседы», завершился – последний номер символически выразил это, открываясь поминками по Хомякову и завершаясь некрологом Константину Аксакову. Кошелев еще имел смутные планы продолжения издания как неперIODического, выпуская время от времени сборники, однако планам не суждено было осуществиться – в частности и по той причине, что отношения с большинством прежних сотрудников и соучастников его издания оказались к этому времени весьма «прохладными»: если Аксакова нередко критиковали за диктаторские редакторские замашки, то он умел заменять собой отсутствующее многообразие авторов, к тому же обладая способностью формулировать свою программу – пусть и далеко не всегда отчетливо, но ярко. Редакторские же таланты Кошелева были невелики – далекий от терпимости, он в то же время не умел ни увлекать, ни убеждать, да и не имел желаний и способности к регулярному редакторству – в результате последующая его деятельность в этом направлении свелась к публикации заграничных брошюр собственного сочинения, читаемых весьма немногими, да к финансированию «Беседы» (1871–1872) и газеты «Земство» (1880–1882), вполне бесцветных изданий.

Шенрок, оценивая перемены, происшедшие во взглядах Аксакова в 1861 году, пишет: «Произошло, в силу чувства семейной любви, окончательное обращение И[вана] С[ергееви]ча в славянофила» [Шенрок, 1904, № 12: 286] – и эта формулировка имеет серьезную долю истины. Аксаков не «обратился в славянофила», но изменилось его положение – ранее, будучи одним из младших членов кружка, он стремился отстаивать самостоятельность своих взглядов, полемизировал с тезисами, выдвигавшимися братом или Хомяковым, чувствовал себя свободнее, поскольку учение формулировалось и защищалось другими: он был славянофилом вовне, но внутри кружка, не являвшегося ни сектой, ни партией, члены которой присягают уставу, не смущался акцентировать разногласия. Теперь, когда Хомяков и брат Константин скончались, он стал наследником их учения – его предстояло сохранить и донести до других, объяснить вовне. Дистанция смерти изменила и само значение сказанного – брату Григорию в начале года, вскоре после похорон, Аксаков писал из Москвы: «Я еще не приступал к разбору бумаг Константина, но на днях начнется и это дело. Надобно признаться, что это занятие очень тяжело. Так свежи следы жизни на них, так сильно говорят эти заметки, эти неоконченные фразы, эти вопросительные знаки и *nota bene* о внезапно прерванной деятельности, так живо наконец самое сознание, что некому ни отвечать на вопросы, ни восполнить полувывыказанную мысль. Очень прискорбно чувство собственной недостаточности» [Шенрок, 1904, № 12: 286].

Он стал душеприказчиком интеллектуального наследия своего брата – и, вместе с Самариным, попечителем трудов Хомякова. Необходимо осознать особенность этой духовной и душевной ситуации, где главным было сохранить, не нарушить и не повредить то, что оказалось в попечении – собственное, авторское отходило на второй план, стушевывалось: Аксаков не настолько ценил и доверял собственной мысли, чтобы предпочесть ее мыслям дорогих усопших. Он вынужден был действовать самостоятельно – но смысл этой деятельности находил в обережении унаследованного¹.

Созданное им за это время оказалось, пожалуй, решающим по значимости в интеллектуальной истории славянофильства – не столько в разработке отдельных положений славянофильского учения, сколько в самом внесении славянофильства в публичное пространство, обеспечение ему долговременного присутствия в нем (и, отметим между прочим, в непредвиденном результате – что к 1880-м годам «славянофильство» приобрело устойчивое, расширительное значение, позволяя говорить Пыпину или, затем, Милюкову о «славянофильстве» применительно к их времени). Предшествующие издания славянофилов имели весьма ограниченное влияние и известность, не образуя интеллектуального направления – то есть точки объединения, способной включать все новых участников в той мере, в которой они разделяли базовые интеллектуальные установки. Аксакову не удалось стать лидером подобного направления, придать ему реальность как относительно структурированному целому по ряду причин – в первую очередь потому, что само славянофильство оставалось для него прежде всего общностью лично знакомых людей, принадлежащих к одному социальному кру-

¹ В сентябре 1861 года, незадолго до выхода № 1 «Дня», Аксаков писал Н.С. Соханской о Хомякове и брате: «Знайте, что вся наша школа, или направление наше – создано было ими, что они, по словам человека, расхоронившегося с ними в существеннейшем вопросе, вопросе веры, именно, Искандера – “составляют поворотную точку в истории Русского просвещения и русского мышления”. У нас у всех убеждения были приняты; в них они выработались сами собою, или, вернее сказать, наши убеждения – при нас, их убеждения были – в них, они были живое воплощение своих убеждений, без противоречия и уступок. В них мысль была живым, неистощимым ключом. Для них не было сомнений. Хомяков был несравненно мудрее, многостороннее моего брата: брат мой вовсе не знал жизни, сохранил младенчество души до самой кончины, но в нем было зато какое-то откровение мысли, дающее только чистым младенческим душам. Когда вы будете иметь пред собою полное собрание сочинений брата и такое же Хомякова, вам будет интересно сличить характеры этих двух подвижников духа и мысли, которых современники и оценить вполне не могут. Мудрено в немногих словах объяснить вам ту внутреннюю цельность всего их нравственного существа, которая давала такую силу их слову. Эта *цельность* обуславливалась, между прочим, *целомудрием*. Вы не жеманная барышня, а потому я скажу вам прямо, ибо это существенная черта жизни этих людей: брат мой, умерший на 43 году своей жизни, умер девственником, в самом строгом и реальном смысле этого слова; Хомяков, бывший в молодости гусарским офицером, принимавший деятельное участие в Турецкой кампании, путешествовавший много, сохранил строжайшую телесную чистоту до самой своей женитьбы, уже на 34 году своей жизни. При состоянии наших общественных нравов, согласитесь, такое явление – совершенно исключительное. Но замечательно, каких жрецов требует себе русская мысль и русское искусство. Вспомните Гоголя и Иванова, этих аскетов-художников; Хомяков и Константин Сергеевич были такими же подвижниками-мыслителями. Разумеется, посеянное ими не умрет (как сказал мой брат, умирая), но среда, которой они давали свет и жизнь, разбилась. Как бы вас там не уверяли некоторые на счет моего значения, не верьте им. Я не имею ни их талантов, ни их искренности, ни их любви, ни их цельности, ни их целомудрия. Моя жизнь вся состояла из порывов, из лирических возношений на недосягаемую высоту и внезапных падений в глубь преисподней. Вот почему я называл свое предприятие [издание «Дня» – А. Т.] дерзким» [Аксаков, Соханская, 1897, № 4: 563–564, письмо к Н.С. Соханской от 20.IX.1861].

гу, с общей культурой и бытовыми привычками. Но сделать славянофильство фактором общественной жизни, трансформировать славянофильское учение из взглядов небольшого кружка в мировоззренческую позицию, открытую широкому кругу участников, – это преобразование является преимущественно его заслугой (впрочем, успеху сильно содействовала ситуация 1860-х годов, когда, если воспользоваться гораздо более поздним выражением, «время славянофильствовало», но «ситуация» – лишь пространство, создающее возможность для действия, действие же было предпринято Аксаковым).

В оценке, какой должна быть славянофильская деятельность теперь, в новых условиях, он столкнулся с непониманием самых близких к нему членов кружка. Ю.Ф. Самарин рассудительно писал из Самары 22.VI.1861, получив известие о разрешении, выданном на издание газеты: «Радоваться ли, поздравлять ли тебя с успехом? Право, не знаю, многое говорит pro, многое contra, но, взвесив все доводы и все убеждения, я прихожу к тому, что издание газеты как-то несвойственно нашему литературному назначению и не гармонирует с ним. Во-первых, для газеты более чем для всякого другого издания, нужен успех, нужно если не сочувствие, то озлобление, по крайней мере, какое-нибудь участие публики. Мы не только не можем на него рассчитывать, а, напротив, положительно знаем, что его не будет. Во-вторых, как ты справедливо замечаешь, газета не может служить органом для постановки, определения и развития начал; ее задача: освещать современность с точки зрения начал уже известных или признанных. Наши же почти неизвестны и решительно не признаны. Отношение нашей мысли к современным, в воздухе носящимся понятиям, таково, что во всех вопросах мы должны начинать с азбуки. Иначе – не то что не согласятся с нами, а просто не поймут нас» [Самарин, 1997: 206–207]. Напротив, Аксаков сразу же ориентировался на издание газеты – в частном письме к министру народного просвещения Е.П. Ковалевскому (адресуясь так с целью предварительно выяснить возможности), он спрашивал о дозволении издавать журнал и газету [Цимбаев, 1978: 69–70], а графине А.Д. Блудовой писал, опасаясь, что в праве издавать газету ему откажут: «Конечно, я бы желал издавать, кроме периодического сборника, и газету; говорят: нельзя одному лицу издавать два журнала, – но ведь можно издавать газету в *виде еженедельного прибавления к журналу*, как теперь Катков при «Русском Вестнике» издает «Современную Летопись»» [Аксаков, 1896: 182–183, письмо от 7.II.1861]. Когда Ковалевский известил его о невозможности одновременного получения разрешения на издание газеты и журнала, то Аксаков незамедлительно предпочел подать просьбу о дозволении первой – и, извещая о благополучном итоге прошения, писал Ю.Ф. Самарину: в газете «не должны находить место статьи чисто отвлеченного, догматического содержания, напр., философские, богословские и т. д. (это не журнал, а газета)», утверждая:

«<...> Пора догматизирования и теоретизирования кончилась, и не потому, чтоб она все свое совершила, а потому, что жизнь не стала ждать ее результатов, потому что она оказалась бессильною перед жизнью, оставаясь упорно в сфере отвлеченных начал» [Мотин, 2012: 53, письмо от 17.V.1861]¹.

Аксаков верно понимал, что время кружков и изданий, на них ориентированных, обсуждающих вопросы, значимые в узком кругу, прошло – более того, много времени было уже потеряно в самый «горячий» период второй половины 1850-х годов (когда относительной неудачей закончились попытки Аксакова ка-

¹ Ту же мысль Аксаков два месяца спустя доносил в письме к Д.Ф. Самарину: «Литературе не достает органа нашей стороны, недостает путеводного компаса в лабиринте, в хаосе современных явлений. Догматическое изложение, т. е. постановка, определение, развитие начал не составляет задачи газеты; ее задача освещать современность с известной точки зрения» [цит. по: Цимбаев, 1978: 72, письмо от 12.VII.1861].

чественно изменить «Русскую Беседу», превратив ее в полноценный, регулярный толстый журнал). Не идти за «жизнью» значило бы обречь славянофильство на неизбежную маргинализацию – дабы предотвратить это, следовало создать направленческое издание, отзывающееся, говоря языком того времени, на «все живые вопросы современности».

В результате ему удастся добиться ситуации, когда славянофильская проблематика обсуждается на равных не как историческая, не как прошлое и точка зрения немногих. Аксаков превратил славянофильство в явление общественной жизни России 1860-х годов – без него славянофильское направление обречено было бы оказаться достоянием немногих оставшихся в живых членов кружка, объединенных общей памятью, но отнюдь не общей программой. Фактически он присвоил себе право говорить от имени «славянофилов» – при том, что к тому времени единства кружка давно не существовало (да и в начале 1850-х годов оно было достаточно условно – ему способствовал абстрактный способ обсуждения проблем, поскольку возможности принять непосредственное участие в их решении в то время не предвиделось).

Наибольшие расхождения пролегли между славянофилами по крестьянскому вопросу: если до Манифеста 19 февраля 1861 года они несколько сдерживались неопределенностью окончательного решения, то с момента издания манифеста вышли на поверхность. Критическое отношение к реформе – тогда еще в виде проекта редакционных комиссий – было заявлено Константином Аксаковым, статью которого, написанную в виде письма к князю Черкасскому, Аксаков опубликовал за границей. Само освобождение от крепостного права Аксаков принял с энтузиазмом. Сразу после прочтения манифеста в Успенском соборе он писал Ю.Ф. Самарину:

«Что я пережил и перечувствовал в это утро – рассказывать тебе нечего: ты сам перейдешь, если уже не перешел сквозь все эти ощущения, захватывающие дыхание радостью и грустью, колеблющие душу до самого дна. Вся душа, все нравственное существо человека расколыхается как море. В такие исторические минуты вся историческая жизнь народа, прошедшая и будущая, веков минувших и веков грядущих, прожитое тысячелетие и раздвигающаяся в бесконечную даль новая череда лет, одним словом, вся историческая жизнь чувствуется как кровный организм, и это чувство отъемлется в каждое частное отдельное существование. <...>

Все-таки великое дело сделано, крепостное право отныне не существует, и я от всей души поздравляю и обнимаю тебя с тем, что ты принял такое деятельное, любви и самопожертвования преисполненное участие в деле освобождения. Как этот день отодвинул в прошлое все, что еще так недавно было нашей ежедневностью: целый период литературный, целый отдел литературы схоронен и получит значение исторического свидетельства, не более! У меня самого есть неоконченная повесть, где герой – крепостной крестьянин, поэма, которой так и суждено остаться неоконченной. А новых типов, новых героев еще не создала действительность» [Бычков, 1994: 247, 250–251, письмо от 6–8. III.1861].

Среди славянофилов (кроме Ивана Киреевского) не было расхождения в принципиальной поддержке крестьянской реформы, но зато глубоки были различия в отношении того, каким должно быть освобождение. В том же письме Аксаков делился с Самариним своими сомнениями: «О деревнях еще не имеем сведений. Беспорядков теперь никаких не будет. Но народ, обманутый в своих ожиданиях, печально вздохнет, и этот вздох грустный всего народа больно отзовется и в твоём, и в моём сердце, и в сердцах каждого, любящего народ» [Бычков, 1994: 250]. Священнику М.Ф. Раевскому в Вену 19.III.1861 он писал: «Дело поистине громадное, необъятное, великое и святое, но важно тут

собственно произнесенное слово, уничтожение крепостного права как права и заявление принципа о нераздельности крестьян с землею. Самый же манифест написан уродливо, на каком-то татарском языке; положение в высшей степени запутано, многосложно. Ни крестьяне, ни помещики не удовлетворены. Крестьяне говорят: «Тут что-нибудь не так: будет настоящая воля, а то – что это за воля: иди на барщину!» [Аксаков, 1896: 48]¹. К концу апреля – в мае Аксаков начинает критиковать принятое решение крестьянского вопроса куда решительнее. Самарину он пишет: «Как можно было ожидать, что народ так легко отречется от начала, выработанного в нем до степени ясного сознания всею его исторической жизнью, отречься от надежды, лелеянной 250 лет... Ты сам писал и говорил об историческом праве народа на землю слишком хорошо и убедительно, чтобы доказывать тебе всю историческую и нравственную законность народного требования, который теперь усмирять приходится пушками!<...> Теперь именно требуется народная санкция, а ее он (народ) не дает и был бы совершенной дрянью, если бы дал. Ты в письме к Черкасскому пишешь сам, что твои крестьяне верят и даже непременно пойдут по струнке, протянутой Положением, но в душе и про себя не согласны, не довольны. Бездельца! Неудовольствие, про себя затаенное 23 миллионами народа, непременно даст себя знать и найдет выход... Как же было не считаться заранее с требованиями народа, которое для нас не сюрприз и которое мы предвидели» [цит. по: Дудзинская, 1994: 25–26]. Если письма Аксакова полны недовольства происходящим с точки зрения народа, не принимающего новый порядок, то Кошелев со своей стороны жалуется на тяжелое положение помещиков: «Крестьяне, узнавши всю непроизводительность нынешней барщины для помещика и всю ее необременительность для них, не будут выходить на оброк. Они убеждены, что нынешнее Положение есть мера переходная и что настоящая воля еще выйдет. Я боюсь, что они не будут выходить на оброк, дабы тем не изъявить своего согласия на нынешнее Положение» [Аксаков, Кошелев, 1922: 62, письмо от 25.V.1861]. Если Кошелев надеялся на выход в виде обязательного перевода на оброк, то Аксаков полагал выходом переход к государственному выкупу, где правительство становилось бы между крестьянами и помещиком, разом разводя их и освобождая от взаимных отношений, принимая на себя обязательства перед помещиками (через инфляционистскую политику), а с крестьян собирая плату через возвышение общего налогового бремени. Собственно, это был возврат к проектам, осаждавшимся на ранних стадиях решения крестьянского вопроса и отвергнутых по их несостоятельности [см.: Христофоров, 2011], чем объясняется резкий ответ Самарина на одно из первых критических писем Аксакова:

«Судить о крестьянском вопросе так легкомысленно, так ребячески ветрено, как ты, позволительно разве студенту-первокурснику. Я не имею времени разбирать его по пунктам, иначе не оставил в нем камня на камне, а ограничусь немногими словами. Не постигаю, как ты до сих пор не убедился, что первое и самое существенное условие всякой практической деятельности заключается в умении держаться твердо своих убеждений, как бы радикальны они не были, и в то же время понимать, что осуществление их возможно только путем целого ряда сделок с существующим порядком вещей. <...>

Мы виноваты в том, что не установили обязательного выкупа, то есть не предоставили крестьянам земли в собственность и не разорвали сразу обязательных отношений к помещикам. Это проповедуется во имя требований, надежд, ожиданий народа, во имя истории и т.д. Позвольте вас попросить хоть

¹ Ср.: ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 30. Л. 50 об. – письмо И.С. Аксакова к кн. Д.А. Оболенскому от 20.III.1861.

один раз на пять минут остановить ваше внимание на этой мысли и разрешить следующие вопросы.

Можно ли отдать крестьянам землю в полную собственность без всяких обязательных повинностей, не вознаградив помещиков за землю и за повинности? Я думаю, никто не скажет, что можно и должно, по крайней мере, я бы не взял этого на свою душу. Если система обязательного выкупа предполагает обязательное вознаграждение, то откуда взять нужные на это средства, если не с тех же освобождаемых крестьян? Крестьяне обыкновенно на это отвечают: «Да где нам знать откуда, чай у царя денег довольно!». Но ведь вам, грамотеям, принимающим на себя рассуждать об общественных вопросах, нельзя этим отделаться; вам нельзя не знать, что безденежье и невозможность расплачиваться жалованьем за дворянскую службу вынудили прикрепление крестьян и что теперь казна пуста. Если нельзя иначе вознаградить помещиков, как за счет освобождаемых крестьян, то не значит ли это сделать их должниками казны на более или менее продолжительный срок за ту землю, которая им достанется в собственность? За сим возникают новые вопросы: может ли казна или банк получить с крестьян их долг рабочими днями или барщиною? Если нет, то обязательный выкуп влечет за собой немедленный, *обязательный* и повсеместный перевод всех помещичьих крестьян с барщины на оброк! Как вы думаете, возможно ли это дело? Например, в Киевском генерал-губернаторстве, в Малороссии, где нет ни единой оброчной души, в заволжских губерниях, где едва 1000 крестьян отбывает повинность деньгами? *Обязательный и немедленный перевод* всех крестьян с барщины на оброк! Подумайте об этом.

Далее, если нет другого исхода и если нужно, приступая к операции, от громадности которой невольно кружится голова, сколько-нибудь подумать о ее последствиях и предупредить государственное банкротство (или, может быть, банкротство не по вашей части, и вы предоставляете другим заботиться о такой грязной мелочи?); то не очевидно ли, что нужно, по крайней мере, понизить, спустить обязательный оброк до самого крайнего *минимума*, который бы был общедоступен? Но ведь оброк и размер его обуславливается количеством земли, отводимой в собственность, следовательно: установить обязательный выкуп – значит, по переводе с языка газетчиков на язык людей, знающих арифметику, подвергнуть крестьян *обязательному уменьшению существующих средних наделов на две трети*. Это вы предлагаете или, лучше, вы этого не предлагаете, потому что вы приняли благоразумное правило не договаривать и не додумывать, а это вытекает прямо и неизбежно из ваших возгласов о праве крестьян на землю, о кровной их привязанности к земле и т. п.

Наше Положение ни к черту не годится, потому что оно не удовлетворяет крестьян, ну а за обязательное сокращение наделов, небось, они бы вам в ноги поклонились? <...> После этого, я надеюсь, что ты присмиреешь. Дружески и крепко тебя обнимаю. Юрий Самарин» [Самарин, 1997: 201–202, письмо от 7.V.1861].

Аксаков и правда несколько «присмирел», соглашаясь, что у правительства хватит сил навязать действующее Положение и крестьяне согласятся на него, но согласятся «как соглашаются на постыдный мир, на тяжелые условия торжествующего неприятеля» [цит. по: Дудзинская, 1994: 26]¹.

Крестьянский вопрос был наиболее важным, но лишь одним из принципиальных расхождений в славянофильском лагере, где число сторон сильно превышало две: другим острым вопросом стал статус дворянства и в целом обсуж-

¹ В последующем разногласия по крестьянскому вопросу выльются на страницы «Дня», где Д.Ф. и Ю.Ф. Самарины (последний под именем Д.Н. Рычкова) будут достаточно резко полемизировать между собой.

дение сословных прав в Российской империи – где радикальным возмутителем спокойствия стал Аксаков, выступив с проектом упразднения дворянских прав, то есть с проектом радикального перехода к гражданскому равенству: здесь в числе его оппонентов оказалось большинство славянофилов, а спор с Кошелевым – по требованию последнего – пошел публично, в полемических статьях Аксакова и письмах в редакцию Кошелева (поддерживаемого князем В.А. Черкасским).

Собственно, эта ситуация демонстрировала, что единства по современным вопросам в славянофильском направлении не существовало, – каждый актуальный вопрос вызывал веер оценок, как правило, более близких друг к другу, чем с представителями других направлений, но далеких от единства – а нередко единство было единством «языка обсуждения». Но в публичном пространстве был представлен образ «славянофильства» как целостного направления, обращенного к современным вопросам – благодаря фактическому преобладанию аксаковского издания (и тому, что другие славянофилы предпочитали все-таки не афишировать разногласия, стремясь изменить, скорректировать позицию Аксакова путем убеждения, не доходя до публичной полемики и, во всяком случае, стремясь в ней придерживаться компромиссного тона, – тем самым задающим публичным образ и основным лицом, формирующим славянофильскую публичную повестку, оказывался Аксаков). Как отмечалось, зачастую Аксаков представлял свою позицию в качестве «славянофильской», отождествляя собственные взгляды со взглядами направления, хотя «День» не был органом «кружка», но его личным изданием (и таковыми оставались и другие руководимые им издания).

Впрочем, не стоит и преувеличивать степень *приватизации* Аксаковым славянофильства. Если растождествление Аксакова со «славянофильством *asis*» имело ценность в дискуссиях ближайших после его кончины десятилетий, разграничивая взгляды, которые были присущи лично Аксакову, от того, что можно считать общей «славянофильской» позицией, которую можно реконструировать к моменту расцвета кружка, во второй половине 1840-х – первой половине 1850-х годов, то для 1860-х годов речь следует вести о том, что самой общей «славянофильской» позиции не стало. Вместо нее Кошелев, Ю.Ф. и Д.Ф. Самарины, Василий Елагин, Аксаков, Дмитриев-Мамонов использовали свои интерпретации славянофильства, в весьма различной степени определяя и то, что считали концептуальным ядром учения, и то, каково отношение этого учения к текущему моменту. Для одних речь шла о славянофильстве как об отжившем, закончившемся явлении, сыгравшем свою роль и заслуживающем справедливой оценки (в которой, на их взгляд, ему отказывало преобладающее направление общественной мысли). Для других ставился вопрос о применении славянофильской доктрины к современным событиям с достаточно разнообразным отношением к вопросу о допустимости, исходя из понимания современности, пересматривать основные положения славянофильства.

Погодин в 1861 году сочтет Аксакова рабски приверженным славянофильскому учению, Чижов выскажет аналогичный упрек в 1866 году, а спустя еще девять лет Константин Леонтьев найдет в Аксакове «фарисейские» черты, что в разговоре об ученичестве – и способности ученика (то есть Леонтьева) пойти дальше учителя – возвращает к упреку в начетничестве («книжники и фарисеи»), непониманию учителя, остановившегося в своем развитии и держащегося за предание, понять (или, может быть, точнее, принять) своего продолжателя. Однако Кошелев, например, в то же время будет считать (осуждая), что Аксаков далеко ушел от положений первоначального славянофильства, а с 1880-х годов тезис о вырождении славянофильства (включая в ряд «эпигонов» и самого Аксакова) будет выражен Владимиром Соловьевым, от которого перейдет в об-

щее достояние либеральной историографии (отражаясь, например, в статьях П. Милюкова).

Предсказуемым образом оба подхода имеют свои основания. Аксаков не только всячески демонстрировал преемственность, преданность взглядам Хомякова и Константина Аксакова, но и, изменяя учение, старался не акцентировать изменение: подчеркивались черты преемственности, а не отличия, причем, надо отметить, добросовестным образом – он стремился сохранить верность взглядам «основоположников», применяя их к современности, и тем самым был вынужден давать ответы на вопросы, отсутствовавшие ранее, он давал *свою* интерпретацию и, полагая ее верной, не проводил отчетливого разграничения между интерпретацией и интерпретируемым.

Примером такого рода отчетливого вмешательства и одновременно добросовестного поведения интерпретатора служит ситуация, возникшая в ходе подготовки первого тома собрания сочинений А.С. Хомякова. При разборе рукописей Аксаков обнаружил статью покойного «Об общественном воспитании в России», написанную, по предположению П.И. Бартенева, около 1858 года и переданную князю П.А. Вяземскому, на тот момент занимавшему пост товарища министра народного просвещения [Хомяков, 1900, I: 351, примеч.]. Ее содержание смутило Аксакова, поскольку утверждало «не только право», но и «прямую обязанность» на вмешательство государства в воспитание: «Государство обязано отстранять от воспитания все, что противно его собственным началам. Такова разумная причина, из которой истекает необходимость прямого действия правительственного на общественное образование. <...> Положительное вмешательство правительства в дело общественного образования также законно, как и отрицательное его влияние; а все то, что составляет право правительства, составляет в то же время часть его обязанности. Итак, в число прямых обязанностей правительства <...> входят: устранение всего, что противно внутренним и нравственным законам, лежащим в основе самого общества, и удовлетворение тех потребностей, которых само общество еще не может удовлетворить вообще» [Хомяков, 1900, I: 352, 353]. В сентябре 1861 года он писал Самарину, советуясь, следует ли печатать статью, а «если печатать, то с выпусками или без выпусков», приводя заранее аргумент в пользу ограничительного варианта, поскольку «статья эта, кажется, никогда не назначалась для печати; чуть ли она не была написана по желанию Блудовых» и поясняя: «Нужно ли говорить, как опасен такой совет в настоящую минуту, когда правительство положительно неспособно к разумному вмешательству, а между тем вмешивается самым уродливым, самым безобразным образом, и когда зло настоящей минуты заключается именно в неуместном вмешательстве государства?» [цит. по: Цимбаев, 1978: 172–173]. В итоге некоторые фрагменты статьи были опубликованы Аксаковым в № 1 «Дня», а именно те, которые содержали утверждение за наукой «свободы мнения и сомнения». В полном же виде статья была опубликована только в 1900 году, в третьем издании Полного собрания сочинений А.С. Хомякова, подготовленном П.И. Бартеневым [Хомяков, 1900, I: 351–374]. Подчеркнем, что в этой ситуации хорошо отразились основные черты позиции Аксакова по отношению к наследию Хомякова и брата: во-первых, глубокое стремление сохранить верность их принципам, во-вторых, неизбежная – при актуализирующем прочтении – интерпретация в плане, близком к собственным установкам, в-третьих, в случае «неудобного» материала – добросовестность, когда соображения «момента» и «удобства» сами по себе не рассматриваются в качестве достаточных: лишь то обстоятельство, что записка не предназначалась самим Хомяковым к печати и, следовательно, автор не принимал в расчет возможное восприятие широкой публикой, позволяло опубликовать текст фрагментарно.



Отношение Аксакова к учению Хомякова и брата оказывается опасно близко к религиозному – так, в письмах 1861 года, в момент подготовки первых томов собраний сочинений того и другого, он неоднократно употребляет обороты вроде следующего: «Полное собрание статей Хомякова вполне заменяет догматическое изложение его учения, о недостатке которого мы горевали» [Аксаков, 1915b: 9, письмо Н.А. Елагину от 12.VI.1861]¹, а то, что это не является лишь особенностью словоупотребления, подтверждает резкое, вырвавшееся в частном письме, но от этого не менее ценное утверждение Аксакова: «<...>Нельзя креститься в Христианскую веру (а славянофильство есть не что иное, как высшая христианская проповедь), не отдувшись, не отплевавшись от сатаны» [Аксаков.Страхов, 2007: 25, письмо к Н.Н. Страхову от 6.VI.1863].

Редактор-издатель «Дня»

В первых московских письмах Аксакова преобладает потерянная, потребность определиться с тем, как действовать дальше, но основная позиция занята сразу: он осознает себя «хранителем» наследия, в первую очередь брата, но затем в этот перечень прочно войдет и Хомяков, образовав устойчивую диаду – тем, кто ответствен за целостность их мысли, за то, чтобы труд их был не напрасным. Брату Григорию он писал в это время:

«Призванный обстоятельствами и постоянно призываемый всеми оставшимися друзьями заменить Константина, я должен на каждом шагу испытывать, кроме скорби, обидное чувство личной моей несостоятельности, еще сильнее проявляющейся. Между тем приходится поневоле служить им всем хотя внешним центром. Я не только не буду отказываться от общества вообще, но всеми силами буду стараться поддерживать связь и влияние на общество, а через это поддерживать память и влияние Хомякова и Константина» [Шенрок, 1904, № 12: 286].

Ю.Ф. Самарину 12.I.1861 он пишет: «Мне нужно с тобою видаться и поговорить, но не о себе, и не об эмансипации, а о тех обязанностях, которые наложила на нас связь с умершими, о наследстве, ими оставленном, об общественном положении славянофильства, о том, разойтись ли нам, или теснее соединиться, загасить ли последние лучины, довольствуясь тем, что ветер по сторонам разнес несколько искр, или раздуть их и поддерживать по возможности пламя, создавать ли новый орган литературный, или отказаться от деятельности литературной *in corpore*» [Мотин, 2012: 25]. По приезду Самарина в Москву в беседах с ним Аксаков укрепился в своих планах и, как говорилось ранее, сначала неофициально писал министру народного просвещения Е.П. Ковалевскому о разрешении газеты и журнала, а поставленный перед выбором, подал просьбу об издании газеты. При этом он использовал поддержку со стороны Министерства иностранных дел, его Азиатского департамента, со времен «Паруса» и «Русской Беседы» заинтересованного в использовании славянофильских изданий для влияния на славянские народы, – существующий «славянский отдел» в «Санкт-Петербургских ведомостях» совершенно не удовлетворял этим целям по своей невлиятельности. В результате официальное разрешение было получено – хотя и не без проблем: Ковалевский пытался получить его непосредственно у Александра II, через личный доклад, на котором император решил, что «запрещение “Паруса” не считать препятствием к дозволению новой газеты», однако III Отделение (в лице князя В.А. Долгорукова и А.Е. Тимашева) воспротивилось подобному решению, настаивая на соблюдении установленной процедуры: вопрос был перенесен в Совет Министров, который 15.V.1861

¹ Ср. аналогичное суждение о значении собрания статей и заметок Хомякова и К.С. Аксакова в письме к Н.С. Соханской от 18.VI.1861 [Аксаков, Соханская, 1897, № 4: 551].

принял решение в пользу Аксакова [Цимбаев, 1978: 71]. Если перед лицом правительства Аксаков всячески подчеркивал славянский аспект своего издания, предлагая как вариант названия «Славянский вестник» и утверждая, что «как бы там ни думало обо мне правительство, но я убежден, что наша славянофильская деятельность полезна интересам России вообще, а в частности и нашей политике. “Беседа” без сомнения поддерживает в славянах любовь к России, веру в нее, мешает им поддаваться чуждому влиянию, а следовательно этим самым достигает целей, предположенных и самим правительством» [Мотин, 2012: 27], то в частных письмах утверждал: «для меня несравненно важнее отдел русский» [Аксаков, Соханская, 1897, № 4: 550, письмо от 18.VI.1861]¹.

По получении разрешения Аксаков сосредоточился на подборе сотрудников издания, в первую очередь желая наладить получение корреспонденции с мест, стремясь обратить внимание на внутреннюю жизнь России и привести ее тем самым в известность. Н.М. Павлову уже 26.V.1861 он писал: «Независимо от статей разного содержания, будьте, пока Вы живете в деревне, также моим корреспондентом; дело в том, что мне хочется особенно налечь на корреспонденцию из провинции и поднять эту часть, сильно опошленную и пренебреженную в наших газетах. Я хочу, чтоб корреспонденция из какой-нибудь Тулы или Калуги была бы интереснее для русского всякой корреспонденции из Англии или даже из Славянских земель; я хочу такой корреспонденции, от которой бы несло местным черноземным духом или там каким-либо другим. Теперь в провинциях жить интереснее, чем в столицах, теперь пробудилась жизнь повсеместно, везде движение, хотя бы оно и было движением разложения. Теперь жизнь в дезорганизации, в разложении, разрушении старого порядка. <...> Но среди развалин существующего порядка, среди хлама и пыли созревает в тишине почти незаметно другая, новая зиждущая сила, к которой славянофильство непосредственно примыкает» [Мотин, 2012: 58]. Н.А. Елагина, служившего мировым посредником, Аксаков просил: «Обратите особенное внимание теперь – на юридические понятия народа, вообще на его *common law*, столь мало нам известный, и без познания которого, однако же, невозможны никакие истинные, дельные преобразования в нашем судебном и гражданском законодательстве» [Аксаков, 1915b: 10, письмо от 12.VI.1861]. О том же он просил, например, и Л.Н. Толстого, убеждая последнего: «Предмет Ваших занятий представляет Вам обильный материал для писем. Только записывайте все случаи, все столкновения, все толки Ваши с крестьянами в качестве мирового, – и это уже будет в высшей степени важно. Мы вполне невежи, например, относительно юридического понимания народного, относительно его *common law*. Я убежден, что в народе русском лежат начала для нового права (*jur-povum*)² – совершенно противоположного началам римского права, началам формальной, внешней правды. Все бы это соследило было бы важно, а кому лучше соследило, как не мировому посреднику? Если Вы, любезный Лев Николаевич, согласны со мной, то настройте (если только возможно) в этом же духе и Ваших товарищепосредников» [Мотин, 2012: 65]. Желаемое положение вещей в газете виделось ему следующим образом:

¹ В письме к гр. А.Д. Блудовой, уже после нескольких месяцев продолжающегося издания газеты, Аксаков выскажется еще более определенно: «Пока будет существовать “День”, он будет посвящен преимущественно русским нашим внутренним вопросам, перед которыми славянские имеют интерес уже второстепенный, и почетного места – *premier Moscou* – я не уступлю последним» [Аксаков, 1896: 238, письмо от 5–6.II.1862].

² Данная проблематика получит многостороннее развитие в статьях самого Аксакова, так и в публикациях И.Д. Беляева, В.Н. Лешкова, Д.Ф. Самарина – см. интерпретацию статьи последнего в данном аспекте в письме Аксакова гр. А.Д. Блудовой от 24–25.XI.1861 [Аксаков, 1896: 213].

«Мне хотелось бы, чтобы в моей газете отражалась, как в зеркале, вся внутренняя областная жизнь, вся пробудившаяся в ней деятельность общественная, умственная, экономическая. Мне хотелось бы *корреспонденцию* из губерний поднять на первое место в газете, сделать так, чтоб письма из Тульской губернии были для нас, русских, интереснее писем из Лондона или Нью-Йорка. В настоящую минуту провинция представляет в тысячу раз более интереса, чем столицы, и это понятно. Пока развитие наше совершалось в области отвлеченной, без приложения к жизни, не захватывая быта земли, – она, естественно, заключалась в среде столичной, в среде людей отвлеченно-просвещенных, оторванных от почвы, в оранжерее умников, книжников, литераторов. Но когда дело коснулось всей земли, быта народного, когда наступила та социальная революция, которую мы теперь переживаем, наши столичные интересы мигом побледнели, жители столиц остались как раки на мели, чувствуют или должны почувствовать всю свою несостоятельность, всю свою отчужденность от дела, когда наступило *серьезное* дело, когда из области фраз оно перешло в область жизни. Мне даже кажется, что они, особенно петербургские доктринеры и глашатаи истин, должны закашлять, получить флюс и ревматизм от свежего воздуха, который пахнул или имеет пахнуть на мир снизу. Это сравнение употреблял, кажется, Тютчев, говоря о правительстве, но я, признаться, считаю его вернее применимым к Щедриным петербургским (и частью московским, – разумеется, в свою пользу я делаю исключение!) литераторам» [Мотин, 2012: 64–65, письмо к графу Л.Н. Толстому от 15.VI.1861].

Вскоре Аксакову предстоит убедиться на практике, что «опошленное и пренебреженное состояние» местных корреспонденций, которое он ставил в вину существующим изданиям, по крайней мере не целиком объяснялось таким образом – сотрудников в провинции он приобретет совсем немного, корреспонденции будут редки и не вызовут особенного интереса не только у публики, но и нередко у самого редактора.

Выход газеты первоначально планировался с 15 сентября или с 1 октября [Мотин, 2012: 58, письмо к Н.М. Павлову от 26.V.1861], однако первый номер в результате вышел только 15 октября. Начало издания принесло Аксакову успех – число подписчиков стало быстро расти, газета активно обсуждалась и в обществе, и в других изданиях (отозвались на выход «Дня» практически все основные печатные органы, причем в большинстве из них отклики были довольно сочувственные – исключением оказалось «Время» братьев Достоевских, воспринимавшее аксаковскую газету как идейно достаточно близкое издание, с которым, следовательно, тем важнее было размежеваться: Аксаков отвечал в данном случае взаимностью)¹. Хотя «политическое обозрение» как отдел из-

¹ Первоначальную оценку Аксаковым «Времени» братьев Достоевских можно найти в письме к Н.С. Соханской от 20.X.1861: «Этот журнал славянофильствует отчаяннейшим образом, и при всяком удобном случае нас ругает, говорит, что славянофильство – отживший момент, и хочет создать учение о русской народности – минус вера и нравственный закон!» [Аксаков, Соханская, 1897, № 4: 570]. Спустя почти два года, в переписке с Н.Н. Страховым (начавшейся с письма последнего, вызванного попытками оправдаться в статье «Роковой вопрос», приведшей к закрытию «Времени»), Аксаков высказывал, по существу, те же самые оценки: «Ошибка капитальная журнала «Времени» всегда была та, что он думал ухватить субстанцию русской народности *вне* религии, *вне* Православия, толковал о почве, не разумея свойств почвы. Историю же цивилизации нельзя понять, устранив от нее действие просветительных духовных начал» [Аксаков, Страхов, 2007: 19, письмо от 16.VI.1863] – и вновь в письме от 6.VII.1863, в ответ на попытки Страхова оправдать журнал, заодно проговаривая то, что ранее оставалось за скобками, служа эмоциональной подпиткой раздражения: «Вы напрасно ссылаетесь на *направление* «Времени». Хотя оно постоянно кричало о том, что у него есть направление, но никто на это направление не обращал внимания. Оно имело значение как хороший беллетристический журнал, более

дания было Аксакову воспрещено¹ – но он с самого начала восполнил его своими передовыми статьями, которые и стали главным украшением номеров, привлекая к газете внимание читателей. В конце января 1863 года, когда цензура раз за разом отказывалась пропускать подготовленные им статьи о ситуации в Польше, Аксаков писал графине А.Д. Блудовой в Петербург: «Без передовых статей газета моя не может идти потому что ³/₄ публики только ради их и подписываются на газету <...>» [Аксаков, 2001: 343, письмо от 30.I.1863].

Цензурные проблемы начались у газеты еще до ее выхода в свет, чего и следовало ожидать после отношения, направленного Главным управлением цензуры Московскому цензурному комитету 25.V.1861, где извещалось о дозволении «г. Аксакову издавать означенную газету, без политического отдела, с тем, чтобы московскому цензурному комитету иметь *особенное*, в *цензурном отношении*, наблюдение за этим изданием» [цит. по: Цимбаев, 1978: 71]. Написанное Аксаковым объявление (на языке того времени: «программа») об издании «Дня» было отвергнуто цензурой, о чем он рассказывал в письме к Н.М. Павлову: «Программу мою, пространную и серьезную содержащую в себе полное *profession de foi*, программу, признанную умеренною всеми благоразумными людьми и даже цензорами, не пропустили цензора ни в Москве, ни в Петербурге, ни сам министр, говоря: будь это не ваше, а другого, так можно бы. Это тупоумное отношение цензуры ко мне мало обещает утешительного в будущем. Кончилось тем, что я должен был ограничиться простым извещением о выходе в свет новой газеты, предпослав только несколько строк, объясняющих такую краткость. Это извещение напечатано в “Моск[овских] Ведомостях”, которые Вы, верно, получаете, и появится во всех петербургских газетах. Скромнее и тише нельзя было явиться в свет. Но мне другое было нужно. Мне нужно было кликнуть клич по России, создать себе с самого начала сочувственную среду, выкинуть знамя, чтобы потом собрались под него все рассеянные по России, сочувствующие мне и моему направлению. <...> Этого не удалось» [Мотин, 2012: 85, письмо от 3–4.IX.1861]. В опубликованном объявлении Аксакову, вместо изложения своих принципов, пришлось ограничиться следующей формулировкой:

чистый и честный, чем другие, но претензии его были всем смешны. Там могли быть помещены и помещались и хорошие статьи вроде Ваших, но все это не давало “Времени” никакого цвета, никакой силы. Ему недоставало высших нравственных основ, честности высшего порядка. Оно имело бесстыдство напечатать в программе, что первое в русской литературе провозгласило и открыло существование русской народности! Нет такого врага славянофилов, который бы не возмутился такою дерзкою ложью. Потом это наивное объявление, что славянофильство – момент отживший, а пути к жизни, новое слово теперь у “Времени”! Славянофилы могут все умереть до одного, но направление, данное ими, не умрет, – и я разумею направление во всей его строгости и неуступчивости, не прилаженное ко вкусу и потребностям петербургской канканирующей публики. Вот это волокитство за публикой, это желание служить и вашим и нашим, это трактование славянофилов *свысока* во “Времени”, и с *презрением* в первой программе “Времени”, это уронило журнал в общем мнении публики, а славянофилы, как Вы знаете, нигде, ни единым словом даже не задели “Времени”, потому что убеждения их – не вопрос личного самолюбия. Например, “Время” о повестях Кохановской объявляет, как о явлениях, пропущенных нашей критикой, забывая, что “Русская Беседа” в статьях моего брата и Гилярова первая определила ее значение в литературе!!! В Петербурге, впрочем, и не может издаваться журнал с народным направлением, ибо первое условие для освобождения в себе плененного чувства народности – возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми помыслами своими» [Аксаков, Страхов, 2007: 24–25].

¹ Получить разрешение на «политическое обозрение» получилось гораздо позднее – данный раздел появился в газете только в последний год ее существования, с 1.I.1865.

«Издатель и редактор газеты “День” смеет думать, что имя его уже само по себе указывает на характер и направление нового литературного предприятия»¹.

В этой ситуации Аксаков писал княгине Е.А. Черкасской, одновременно стремясь побудить ее мужа к сотрудничеству в газете: «И мое предприятие представляется мне самым отчаянным риском, самым дерзким *va-banque*.

Нет кругом сочувственной среды, нет сотрудников, нет помощников; о самых интересных, важных вопросах говорить нельзя уже и потому, что вопросы в обществе достигли такой зрелости, что об них надо говорить много, прямо, обсуждать их со всех сторон, а не ограничиваться, как прежде, поверхностным выражением сочувствия или отрицания» [Трубецкая, 1904: 340, письмо от 19.IX.1861].

Дальнейшее существование «Дня» превратится в непрерывное сражение с цензурой. Еще до выхода первого номера, готовя его к изданию, Аксаков описывает свои мытарства: «Вообразите, что каждую статью читают сначала порознь: Гиляров, Петров и Щербинин. Потом она же, статья, рассматривается ими на конференции, состоящей из этих трех господ. Обыкновенно цензор Петров, недовольный снисходительностью Гилярова и Щербинина, требует, чтобы эту же статью рассмотреть вновь в полном составе Цензурного комитета. Узнавши об этом, я сам отправляюсь в Цензурный комитет и там, у дверей комитета, усаживаюсь и жду. Двери беспрестанно растворяются, члены выходят в приемную и конфузятся, видя меня и зная, что не уйдут от объяснений со мною. Это действует, и несколько статей, забракованных на конференции, пропущено таким образом» [Аксаков, 1896: 190, письмо от 4.X.1861], а 22.X.1861 добавлял в повествование новых красок: «Если цензура будет постоянно отнимать у меня столько времени, сколько теперь, то сил моих положительно не хватит. Я, чтобы вознаградить потерянное время, должен сидеть каждый день до 4 часов ночи. Надо и писать статьи, и читать все присылаемое, и вести обширную корреспонденцию, и держать корректуры, и следить за газетами и журналами, и наконец видаться кое с кем, чтобы знать настроения умов и проч. Напр., вчера я сидел до 4 часов ночи и написал статью передовую для 3-го №. <...>. Нынче утром в 10 часов везу к Гилярову на Пятницкую улицу: он очень, очень доволен, но пропустить сам собою не может. Еду от него к другому цензору, Петрову, на Остоженку; так как меня цензурует и председатель, то оба цензора без него ничего не смеют подписать; еду на Сивцев Вражек – председателя дома нет. Гиляров объявил, что поедет к Щербинину вечером говорить в пользу моей статьи: у него конференции по вечерам, и просил меня туда приехать вечером. Отрываюсь вечером от работы, еду к Щербинину: опять дома нет, какой-то его зять приехал; цензора, говорят, были, да не застали. Я оттуда опять к Гилярову на Пятницкую: и его дома нет! Возвращаюсь, посылаю к нему человека, требую статью назад и завтра утром еду к Щербинину: но он не решит дело без конференции вечерней, а вечером завтра Петров, для безопасности, потребует переноса дела в Цензурный комитет, во вторник. Если статья не пройдет, то ведь надо напечатать другую, но ее следует написать. А написать не так легко тому, кто пишет с некоторым участием внутренним. И когда писать? Нет возможности писать на каждый № по две-три передовых статьи в запас. Но если статью эту не пропустят, то я пришлю ее Вам, чтоб Вы испросили хоть высочайшее повеление на напечатание. Долго ли это будет продолжаться?» [Аксаков, 1896: 198–199].

Вскоре, впрочем, об этом порядке вещей Аксаков будет вспоминать с сожалением – с назначением нового министра народного просвещения, А.В. Головнина не только московским цензорам была настоятельно рекомендовано

¹ Московские ведомости. 1861. 3.IX. № 192.

усилить бдительность контроля за «Днем», но и утвердилась в качестве едва не постоянной практика пересылка статей на рассмотрение в Петербург, поскольку московская цензура опасалась брать на себя ответственность за их пропуск. Конфликт обострился в связи с публикацией цикла статей, излагающих аксаковскую концепцию «народа», «общества» и «государства». Если при публикации первых частей цикла особых трений не возникало, поскольку вопросы рассматривались отвлеченно, то по мере того, как Аксаков подходил все ближе к обсуждению текущего положения вещей, обращаясь к интерпретации русской истории, статьи попали под пристальное внимание не только цензурного ведомства, но и привлекли внимание самого императора [см.: Бадалян, 2011; Тесля, 2012]. Результатом целой серии столкновений стала приостановка «Дня» в июне 1862 года, ближайшей причиной которой явился отказ Аксакова назвать имя автора статьи о положении православного духовенства в Виленской губернии (подписанной «К-ъ»; ее автором был профессор местной семинарии Еленевский, писавший в «Дне» также под псевдонимом «Белорусс»). Требование исходило от самого императора, а попытки Аксакова объясниться, используя имеющиеся связи в Петербурге, и защитить издание, оказались безуспешны. Объясняя причины своей неуступчивости и объясняя суть своей редакторской позиции в целом, Аксаков писал Н.С. Соханской 9.VII.1862:

«Было бы смешно величать мой отказ объявить имя – доблестью, – хотя, конечно, это честный гражданский поступок. Но ведь не в первый раз мне иметь дело с Петербургом; я служил и у графа Панина, и у графа Льва Алекс[еевича] Перовского, и убедился в истине, что *благоразумие* (петербургское) или (петербургский практицизм) есть мать всех пороков. И как близоруки в своих практических расчетах эти г.г. *практики!* Знаете, нет ничего на свете *выгоднее* прямого и честного пути: его следует избирать даже из расчета. Сделай я хоть малейшую уступочку, требуемую петербургским благоразумием, крохотную низость, я бы потерял всю выгоду моего положения в общественном мнении, утратив все симпатии, которыми пользуется мое имя (благодаря моему отцу и брату), лишился бы авторитета и т. п., и никакие другие выгоды (хотя бы и упрочение “Дня”) не выкупили бы этих пожертвований. Конечно, я действую не по этому расчету, но я хочу только доказать, что и с практической точки зрения путь прямой есть самый выгодный путь. Вы пишете, что я на хорошем счету при Дворе. Очень рад за Двор, что может быть у него на хорошем счету человек, который не потешил его в жизни ни разу, не только уступкой, не только лестью, но даже и законною, т. е. подобавшею ему похвалой; который не принимал никогда в соображение – расположение или нерасположение Двора (и никогда не примет), и, уважая Верховную Власть, в той форме, которую излюбил Русский народ, вообще терпеть не может той среды, которую называют “Двором”. Я знаю, что письма читаются: приглашаю прочесть эти строки со вниманием Князя Василия Алексеевича Долгорукова или графа В.И. Адлерберга. Я очень благодарен “Двору” за его внимание ко “Дню”, но, признаюсь, был бы очень рад, если б он не обращал на меня никакого внимания. Я не имею притязаний действовать на Двор, но хочу действовать на общество. Я бы очень желал, чтобы Двор, могущественнейшей державы в мире не занимался бы, как общество какого-нибудь губернского города новоприезжим жителем, мелкими частностями журнальной и общественной деятельности какого-нибудь И.С. Аксакова, одного из 70 миллионов подданных Империи! Отечественная заботливость о моем исправлении, о воспитании моего характера, о диапазоне (*diapason*) моего голоса – меня больше раздражает, чем умиляет, – раздражает собственно потому, что такое отношение к литературе и журналистике ненормально, уродливо, обидно» [Аксаков, Соханская, 1897, № 6: 500–501].



Приостановка издания была объявлена 19 июня 1862 года, одновременно с извещением о приостановке на восемь месяцев издания журналов «Современник» и «Русское слово» – из-за чего произошла первоначально путаница: официальное сообщение объединяло эти три издания вместе, как если бы речь шла об общем решении, после чего последовало разъяснение, что приостановка «Дня» является отдельной мерой, связанной с «воспрещением надворному советнику Аксакову продолжать издание газеты «День»». После такого уточнения начались попытки предложить другую кандидатуру на роль издателя – такая позиция была связана с нежеланием влиятельных правительственных и придворных лиц закрывать «День» как издание, считающееся полезным (в первую очередь в плане славянской политики). Аксаков предложил кандидатуру Чиждова, которая была отвергнута Головинным, причем сама форма отказа стала причиной небольшого скандала¹.

Вместо отвергнутого Чиждова Аксаков предложил кандидатуру Самарина (в качестве других возможных редакторов-издателей называя В.А. Елагина и А.Н. Аксакова), представившуюся приемлемой, однако это не решило проблемы сразу. Рассказывая о положении дел Н.С. Соханской, гостившей в это время при дворе по приглашению императрицы, Аксаков писал: ««День» не выходит потому, что Цензурный Комитет требует или Самарина на лицо, или же какого-нибудь от него уведомления, что он принял редакцию. Самарин служит в Самаре; письмо от него в Москву ходят дней девять! Я телеграфировал ему; но должно быть его нет в городе, потому что не получено ответа» [Аксаков, Соханская, 1897, № 6: 501, письмо от 9.VII.1862]. Спустя девять дней Аксаков информировал того же корреспондента, что Самарин «прислал прошение в Ценз[урный] Комитет, где просил позволения остаться в Самаре и считаться редактором. Прошение отправляется от Комитета к министру» [Аксаков, Соханская, 1897, № 6: 511, письмо

¹ Головин, отвергнув прошение Чиждова, не счел нужным уведомить его об этом, в связи с чем последний обратился к министру с письмом (которое, как и последующие, доводилось тем же Аксаковым до сведения довольно широкого круга лиц как в Москве, так и, что важнее в данном случае, в Петербурге): «Милостивый государь Александр Васильевич, Вашему Высокопревосходительству угодно было не признать возможным утвердить меня редактором газеты «День», без указания повода такой невозможности. <...> Глубоко чтя законность, покоряюсь такому, непривычному даже и для нас, ее проявлению, которое дошло до такой степени простоты, что Цензурный Комитет до сих пор не удостоил меня, одного из просителей, даже объявления об отказе на мою просьбу. Я узнал о нем недавно, и то уже только от г. Аксакова. С чувством должного уважения к министру Народного Просвещения честь имею быть Вашего Превосходительства покорный слуга Федор Чиждов» [Аксаков, Соханская, 1897, № 6: 512–514]. Министр отвечал, попутно «выдавая головой» своего подчиненного, председателя московского цензурного комитета Щербинина: «<...> Г. председатель Московского Цензурного Комитета, представляя о желании вашем издавать газету «День», в то же время предвещал меня, что «заносчивый тон и вредное направление газеты «День» ни мало не изменятся» с передачей ее вам и что это «убеждение основано на том, что издававшийся вами журнал «Вестник Промышленности» постоянно отличался резкостью суждений и стремлением выставлять существующий порядок вещей в невыгодном свете». Вследствие такого отзыва тайного советника Щербинина, которого я глубоко уважаю и к которому я имею полное доверие, и при том вовсе не имея чести знать вас, я, конечно, поступил бы против моих обязанностей, если бы утвердил вас редактором газеты «День»» [Аксаков, Соханская, 1897, № 6: 517, письмо А.В. Головина к Ф.И. Чиждову от 23.VII.1862]. На что Чиждов отвечал уже в августе месяцев того же года: «Грустно думать, Ваше Высокопревосходительство, что в России истинно русское направление может официально считаться вредным, но приятно каждому, сносящему за него оскорбления, – и только за него, ибо другого проступка не указали ни вы, ни г. Щербинин, – приятно знать, что оно не слабеет при самых сильных, прямых и косвенных, нападках на него» [Аксаков, Соханская, 1897, № 6: 522].

от 18.VII.1862]¹. Самарину пришлось ехать в Петербург, добиваясь утверждения в звании редактора-издателя «Дня» (см. письма И.С. Аксакова к М.Ф. Раевскому от 31.VII и 19.VIII.1862 [Аксаков, 1896: 75, 77]), не оставляя своей должности в Самарском губернском по крестьянским делам присутствии. Форма была соблюдена, и с 1.IX.1862 «День» возобновился под его номинальной редакцией. Оценивая ситуацию, Самарин, соглашаясь с недовольством Черкасского аксаковской газетой, писал: «Всего этого я не могу ни исправить, ни восполнить, тем более, что мое участие в этом случае будет чисто номинальное; но я стоял на очереди, нужно было мое имя. Иначе лавочка бы закрылась, а фирму необходимо было отстоять во что бы то ни стало. Надолго ли мы себя обезопасили – это другой вопрос. Я думаю, что буря только отсрочена» [Самарин, 1997: 211, письмо от 27.VIII.1862]. О причинах столь неожиданного изменения решения Самарин сообщал следующее: «Я ехал туда [в Петербург] с твердым намерением отказаться от редакторства, так как из переписки моей с Головниным я убедился, что участь издания решена, что они приговорили его к смерти и только выжидают благоприятного предлога, чтобы покончить с ним без скандала. Вместо этого я вернулся ответственным редактором, с правом жить в Самаре и возложить все объяснения и переговоры с цензурой на моих сотрудников, не исключая и Аксакова. Причина этой неожиданной для меня перемены дирекции заключается в желаниях, неоднократно изъявленных свыше, чтоб “День” не прекращался и чтоб я принял на себя редакцию. То же самое было повторено в Москве. В этом случае более всего помогли письма из-за границы Ламанского и Балабина (венского), которые оба, не сговариваясь, как скоро прослышали об опасности, угрожающей “Дню”, накинулись на Головнина с запросом: ради чего он принимает на себя выполнение программы польско-католической пропаганды и уничтожает единственный орган, поддерживающий наше умственное общение с западным славянством. Это не преувеличение и не дружеская услуга. Из многих читанных мною писем, от самых разношерстных личностей и из рассказов Раевского (он теперь в Петербурге) я убедился, что за границею “День” имеет действительно огромное значение»² [Самарин, 1997: 211].

Формальное редакторство Самарина продолжалось до 1.I.1863, но уже 1.X.1862, то есть спустя всего месяц после возобновления «Дня», Аксаков обратился на Высочайшее Имя с прошением о разрешении ему издавать «День» под собственной редакцией. Осторожный (но хорошо знающий Аксакова) Самарин писал ему в ответ на это известие: «Любезный друг, мне кажется, что ты чересчур спешишь и затеваешь дело неподобающее. Рано просить о восстановлении

¹ О разногласиях внутри славянофильского кружка хорошо свидетельствует письмо А.И. Кошелева к Аксакову из Карлсбада от 1/13.VII.1861: «Поступок Самарина очень хорош, но я не понимаю, как вы можете издавать “День” под его именем. Вы будете связаны по рукам и по ногам, ибо в весьма многом вы теперь расходитесь. Мы скорее могли бы сойтись, и то нужно было бы в некоторых пунктах условиться. Теперь времена не прежние.

Если Самарин вовсе примет “День” и делается его издателем и редактором, то мы почти органа иметь не будем, ибо он будет воспевать дифирамбы. Я видел на днях письмо Черкасского у баронессы Раден. Видно, что Черкасский вполне всем доволен и молит Бога только об одном – чтоб не было никаких перемен и чтобы их “Положение” свято соблюдалось как совершеннейшее Откровение свыше. Просто эти люди рехнулись. Нет, с этими господами теперь ни в чем нельзя сговориться. Надобно, чтоб время и обстоятельства их вылечили» [Аксаков, Кошелев, 1922: 74].

² Аксаков писал М.Ф. Раевскому 31.VII.1862: «Вы бы там в Азиатском департаменте и где следует, познергичнее внушили, как важен “День” для славян, но “День” издаваемый именно Аксаковым. Другой, может быть, отнесется к делу иначе». Позже, когда уже было принято решение и о формальном возвращении Аксакову прав редактора-издателя, он писал В.А. Елагину: «Мне много помогли славяне, славянские газеты, Ламанский, Балабин, Раевский» [цит. по: Цимбаев, 1978: 119, письмо от 15.X.1862].

себя в правах редактора. Тебе откажут. За предлогом не погонятся, а если б он понадобился, то он под рукою: ты не можешь просить о передаче тебе издания, которое сделалось моим.

Сверх того, признаюсь тебе, я не одобряю твоего намерения писать прямо Государю. Во-первых, из этого ничего не выйдет. Дело пойдет все-таки обыкновенным порядком и созреет к разрешению в форме министерского доклада. Ведь это только в сельских обществах еще воображают, что просьбы на Высочайшее имя так-таки и летят прямо в руки к Государю и разрешаются *moto proprio*¹. Во-вторых, к чему напрашиваться на интимные, прямые отношения, когда никто нас к тому не приглашает. Я предчувствую, что я понапрасну мараю бумагу и что дело уж сделано; но ты увидишь, что успеха не выйдет. Как бы не вышло хуже теперешнего» [Нольде, 2003: 516, письмо от 7.X.1862]. Опасения рассудительного Самарина на сей раз оказались напрасными – поддержка со стороны Азиатского департамента и женской половины двора привели к утверждению поданной просьбы, подведя итог под самым крупным конфликтом в истории газеты.

В определенном смысле стороны достигли «взаимопонимания»: с одной стороны, первоначальная попытка «приручить» Аксакова, сделать управляемым со стороны «петербургских славянофилов», по его выражению, скоро закончилась неудачей. Близость с графиней А.Д. Блудовой, помощью которой он активно пользовался в первые месяцы издания, для того чтобы преодолевать цензурные препятствия, закончилась довольно решительным объяснением, когда Аксаков писал:

«Ваш путь идет в сторону, а я с своей дороги не сворачиваю и не сворочу. Позвольте мне считать себя лучшим судьей в том: верен или неверен я славянофильским принципам. Я вам всегда говорил, когда вы ручались за меня *en haut lieu*², что вы берете на себя слишком большую ответственность, что я не отступлю от своих убеждений ради деликатности; извольте меня знать и разуместь таким, каким я есть, а сделать из меня *Hofroë*³ или *Hofpublicist*⁴ вам не удастся. Я пишу вовсе не для того, чтобы им нравилось, – а нравится им, что я пишу, тем лучше для них. Что Евграфу Петровичу⁴ не нравится моя статья, это в порядке вещей, так и быть должно: а разве мне его управление министерством и все, сочиненное им для университетов, нравится? Нисколько. Это меня ни малейшим образом не смущает. Что не нравится вашему батюшке⁵ – это мне прискорбно, но это я приписываю неясности статьи или какому-нибудь недоразумению: он читал или вернее слушал статью уже преубежденный. Что Федор Ивановичу⁶ не

¹ По собственной инициативе (*лат.*).

² В верхах (*фр.*).

³ Придворного поэта или придворного публициста (*нем.*).

⁴ Ковалевскому, в 1858–1861 годах занимавшему пост министра народного просвещения.

⁵ Гр. Д.Н. Блудову, в это время председателю Государственного совета.

⁶ Тютчеву, который 23.X.1861 писал Аксакову, высказывая мнение, противное советам гр. Блудовой (позже, ближе познакомившись с Аксаковым, он сам будет увещевать его к умеренности): «Я знаю, некоторые из лучших друзей ваших будут и теперь еще проповедовать вам об *умеренности*. Благой совет, конечно, стоит только хорошенько понять, что такое умеренность, и может ли ее не быть там, где есть чувство правды и любви. Но заставлять человека, умеренности ради, постоянно говорить не своим голосом, нет, это поистине – неумеренное требование. Нет, дело совсем не в этом, а можно и должно ожидать от вас вот чего. Чтобы вы, как вы уже начинали, по всем вопросам высказывались так сполна, чтобы самому тупейшему тупоумию не оставалось возможности к таким чудовищным недоразумениям, какие бывали прежде, – чтобы наконец поняли *они*, что в России нет и быть не может другого *консервативного* начала, кроме вашего, по той естественной причине, что сохраняет только жизнь, а смерть – отсутствие жизни – непременно разлагает» [Тютчев, 2007: 269–270; см. интерпретацию данного письма: Гачева, 2004: 446–448].

нравится – это меня просто удивляет: для него не должно было бы быть даже и недоразумения! Он может называть статью неосторожной, не дипломатической, наконец неловко выраженной, но я никак не предполагал (впрочем, я его мало знаю), чтоб он был против идеи самой статьи. Что Делянову¹ не нравится? В порядке вещей! Что Княжевичу² не нравится? В порядке вещей! Что Урусову³ не нравится? Я бы усомнился в правде своей статьи, если бы она ему понравилась. Что Долгорукову⁴ не нравится? Слава Богу!

Нет, я ничьей благосклонности и сочувствия не заискивал, и думать о том кому-либо, меня знающему – стыдно; но признаюсь вам, меня напротив того тяготят благосклонность и сочувствие лиц, которым не следует мне сочувствовать» [Аксаков, 1896: 201, 204, письмо от 20.XI.1861].

Это не привело к разрыву, но обозначило границы возможного влияния – в свою очередь и для Аксакова существовал предел в конфликте, в том числе связанный с тем, что он не ощущал за собой поддержки в обществе и в том, что осталось от славянофильского кружка, а в условиях предварительной цензуры конфликт мог быть использован только в той мере, в которой вызывал реакцию в тесном общественном кругу двух столиц⁵ – Соханская, обрисовывая возможности, существующие на тот момент, писала: «Если бы у нас возможно была прямая, открытая честная оппозиция, тогда другое дело; а теперь – вы можете только *цеплять*, и что ж из этого? Вы зацепите раз, другой – а в третий и зацепить не доведется. По крайней мере, дайте прислушаться к вашему голосу, не гремите разом. “Парус” вам спустили на двух номерах, и что же если и “День” ваш померкнет? Прошуметь и ничего не сделать, разве в этом добро и сила вашего дела?» [Аксаков, Соханская, 1897, № 4: 557, Н.С. Соханская к И.С. Аксакову, 19–21.VIII.1861].

Важность для Аксакова представляла и финансовая сторона дела, поскольку собственными средствами он не располагал, доходы семейства были крайне ограничены, складываясь из поступлений с имения и с продажи сочинений Сергея Тимофеевича, а за предшествующее десятилетие накопились значительные долги. Средства на начало издания (500 р.) пришлось одалживать у Кошелева – понятно, что Аксаков был весьма чувствителен не только к идейной компоненте, но и к тому, как добиться хотя бы безубыточности издания, поскольку «из доходов общих [семейных] не беру себе ни копейки, живя то жалованьем на службе, то трудами» [Аксаков, 1896: 120, письмо А.Ф. Тютчевой от 19.VI.1865]. В письме к М.А. Максимовичу, побуждая того к участию в газете, Аксаков писал: «Сотрудников нет; сам я уже не тот, но куда жив, должен по силам своим трудиться и ратовать за общее земское дело. Это для меня во всяком случае риск: начинаю с 500 рублями (да и те заняты), а чтобы покрыть издержки годового издания, нужно не менее 2000 подписчиков» [Аксаков, 1908: 359, письмо от 19.VI.1861], а Н.С. Соханской объяснял сложность своего положения, называя задуманную газету «дерзким делом»: «Дерзко оно еще и потому, что оно рискованно: успех *материальный* мне необходим, а рассчитывать на него едва ли я могу» [Аксаков, Соханская, 1897, № 4: 564, письмо от 20.IX.1861].

¹ В рассматриваемое время – попечитель Петербургского учебного округа, в дальнейшем – министр народного просвещения.

² С 1858 по 1862 год – министр финансов.

³ Товарищ обер-прокурора Св. Синода, в дальнейшем (с 1867 года) главноуправляющий II Отделением С. Е. И. В. Канцелярии, управляющий Министерством юстиции.

⁴ С 1856 по 1866 год – главноуправляющий III Отделением С. Е. И. В. Канцелярии, шеф Отдельного жандармского корпуса.

⁵ Отметим, что позже, в условиях режима карательной цензуры, получив возможность «озвучивать» конфликт, он продемонстрирует, редактируя «Москву», иную тактику, для которой в 1861–1864 годах не существовало возможностей.

Собственно, этим отношением Аксаков отличался от большинства других членов славянофильского кружка – он был если не вполне профессиональным журналистом, то во всяком случае не имел возможности отбросить эту составляющую своей деятельности, вести издание ради принципов, заведомо в убыток (как Кошелев, издавая «Русскую Беседу» или дальнейшие свои заграничные брошюры). В.А. Елагин мог позволить себе рассуждения такого, например, порядка, обращая их к Аксакову: «Сколько нас – это не важно в сущности, и не может быть сочтено и взвешено статистически, и ведь не статистически спасается народ, а солью земли», увещевая не гнаться за подписчиками и предостерегая от увлечений «современной российской болтовней» [цит. по: Цимбаев, 1978: 95, письмо к И.С. Аксакову от 24.IX.1862], но для его корреспондента вопрос «сколько нас?» имел первостепенную значимость, поскольку газета по крайней мере не должна была приносить убытков – по невозможности их покрывать.

Отсюда, из разных оптик, и происходит отношение к аксаковским передовым статьям, на тон которых сетовало большинство членов кружка. Ю.Ф. Самарин, принявший на себя (номинально) звание редактора «Дня» с 1.IX.1862 (об этом эпизоде в истории издания см. выше) писал князю В.А. Черкасскому: «Я вполне сознаю все его [то есть “Дня”] недостатки: напряженный, утомительный лиризм передовых статей, отсутствие переходных звеньев от общих начал к практическим вопросам, совершенную несостоятельность всех попыток одним скачком перейти в область частных применений из области безотчетных верований и неопределенных чаяний, наконец – преднамеренную и ненужную задорность тона. Всего этого я не могу ни исправить, ни исполнить <...>» [Самарин, 1997: 211, письмо от 27.VIII.1862]. В письмах Кошелева полно недовольства легкомыслием статей Аксакова, касающихся самых разных предметов. Аналогичные отклики легко найти в переписке других славянофилов. Проблема была ровно в одном: то издание, которое устроило бы их, потеряло и ту относительно небольшую аудиторию¹, которую сумел завоевать Аксаков, стремящийся поддерживать баланс между сохранением внимания публики и проведением своих взглядов.

В заботах об организации, а затем в хлопотах ежедневного процесса издания газеты Аксаков находил выход не только для своей потребности в общественной деятельности, но и спасение от тяжелой семейной обстановки. Аксаковский дом, еще несколько лет назад казавшийся столь прочным, почти исчез – со смертью Сергея Тимофеевича наступило угасание семейства как живого целого, за отцом вскоре последовал Константин, а летом 1861 года скончалась сестра Ивана, Ольга Сергеевна. М.Ф. Раевскому через два дня после похорон Аксаков писал: «Бедные мои сестры не выходят из траурных одежд. Три года сряду смерти: 1859 г. – отец; 1860 г. – брат, в 1861 г. – сестра! – Маменька очень ослабла...

Тяжело. Болезнь и кончина сестры помешали мне объявить о моей газете, и хоть я не оставляю этого намерения, но трудно, признаюсь, мне теперь отдаваться газете, когда на руках моих вся семья, и все женщины!» [Аксаков, 1896: 63, письмо от 5.VIII.1861]. Сестра Вера, самый близкий в это время к Аксакову человек, писала своей кузине, М.Г. Карташевской в Петербург вскоре по началу хлопот об издании сочинений Хомякова и Константина и обсуждению планов об устройстве газеты: «Жалко смотреть на Ивана, он так одинок, не с кем разделить мысли, сообщить, поговорить. Ему бы надобна деятельность. А нам остается только одно, как пишет Авдотья Петровна Елагина: ожидать общего радостно-

¹ Об аудитории своего издания Аксаков спорил с В.И. Ламанским: «Вы меня упрекаете за то, что я имею в виду только одну образованную публику. Я думаю, что на нее собственно и следует действовать. На народ мы не умеем действовать, и все наши усилия будут напрасны! <...> Впрочем – купцов мне весьма желательно захватить в круг моих читателей; их имел я в виду, когда писал передовую статью 18-го №, и она их заняла сильно» [Аксаков, Ламанский, 1917, № 3–4: 56, письмо от 18.II.1862].

го дня свидания, а куда быть его достойным» [цит. по: Анненкова, 1998: 213, письмо от 15.II.1861]. В августе 1861 года сам Иван напишет Н.С. Соханской схожие строки – демонстрирующие, что это отзвук общих, семейных разговоров и размышлений: «Бедные мои сестры не выходят из траура, а матушка просто изнемогает под грузом горя. В течение двух лет мы потеряли отца, брата и сестру! У меня, слава Богу, остается еще пять сестер, из которых одна замужем, но жизнь семейная, или счастье, почерпавшееся в цельном строе семейной жизни, в конец подорвано и утрачено. Для меня, как для мужчины, которого жизнь преимущественно в интересах общих, которому доступна гражданская деятельность, утрата семейного счастья не так чувствительна, – но для матушки и сестер... Я, разумеется, живу вместе с ними, – но мне негде почерпнуть бодрости, необходимой для моего дерзкого предприятия» [Аксаков, Соханская, 1897, № 4: 554, письмо от 11.VIII.1861]. Издание газеты давало ему выход, ту самую «деятельность», в том числе – заведенными пятницами, приуроченными к моменту выхода очередного номера, на которых собирался круг собеседников, людей, с которыми можно было обсудить занимавшие его вопросы и получить столь потребный живой отклик. Помимо прочего, «пятницы» до некоторой степени поддерживали семейное единство, общность чувств и интересов, столь ценимую Аксаковыми – душой их была Вера Сергеевна, с началом последней болезни которой (она скончалась 24.II.1864) прекратились и вечера. «Маменька», Ольга Семеновна Аксакова, писала М.Ф. Раевскому 8.I.1865: «<...> Бедный мой Иван так бьется с своим “Днем” без помощника, без сотрудников совершенно; большая часть уехали в Варшаву. Сердце мое болит глядя на его непомерные труды к тому же и средства так ограничены, что не возможны большие расходы – Вера моя своим умом и прониканием много ему помогала советами, а теперь он один: Господь помощник!» [Аксаков, 1896: 29, 2-я паг.].

К 1864 году газета стала заметно «выдыхаться»¹ – державшаяся на одной энергии Аксакова, работавшего без помощников², иногда вынужденного писать до 4–5 материалов в один номер, – она утратила и интерес новизны, и одновременно своей позицией оттолкнула многих, кто ей первоначально симпатизировал³. Так, в отношении к польскому вопросу размежевание

¹ Ю.Ф. Самарину, VII.1864: «Я должен сознаться тебе, что теперь в свой труд вношу мало и любви, и веры. Мало любви потому... что издаю звуки в пустом пространстве: никакого резонанса, чувствуешь и знаешь, что можешь то же самое повторить и через два года; что для многого еще не пришло время разумения, а тем менее осуществления...» [Мотин, 2012: 136].

² Н.С. Соханской, 18 и ок. 28.III.1862: «Нельзя мне и не быть раздражительным: сплю я только раз в неделю 6 часов, а в другие – 4 или 5, не более, работаю как вол, – совершенно один, без помощников, и вожусь с этим орудием дьявола – цензурой» [Аксаков, Соханская, 1897, № 5: 90].

М.Ф. Раевскому, 21–22.III.1862: «Губит меня беспорядок в бумагах. Заведу ящики, картончики – не помогает; стол мой так завален, что я и не знаю, как быть: все хочу назначить два дня для пересмотра бумаг, но не нахожу времени. Помощника у меня нет, отчасти потому, что по душе помощника себе не нашел, отчасти потому, что на этой квартире нет ему места, не только где жить, но и где заниматься» [Аксаков, 1896: 73]. Там же: «Можно ли себе представить, что в Москве нет человека, которому бы можно было поручить чтение славянских газет и вообще ведение Славянского отдела!» [Аксаков, 1896: 73].

³ О положении дел с подпиской и расходах на издание Аксаков писал Ю.Ф. Самарину 27.VII.1864: «Дела мои по “Дню” довольно плохи. Число подписчиков в нынешнем году то же, что и в 1863 году, то есть 2400, но этого мало, это только что покрывает расход печатания, но не житья и требует необыкновенной экономии, даже скупости в уплате гонорария, а при этом и дело идти не может. “День” приносит 17 тысяч рублей дохода, а расходу слишком 17 тысяч. У меня нет помощника, я все делаю один... Благоразумнее было бы отказаться от этой разорительной деятельности, но я решаюсь попытаться

прошло настолько глубоко, что позиция Аксакова оказалась одновременно неприемлемой (как слишком «проправительственная») В.А. Елагину и Ф.И. Чижову, и (как недостаточно жесткая) А.И. Кошелеву и Ю.Ф. Самарину (не говоря уже о князе В.А. Черкасском, который уже в 1861 году находил нужным объединиться с М.Н. Катковым и Н.Ф. Павловым ради создания единого консервативно-либерального органа [см.: Мотин, 2012: 107, 152, 160])¹, для либеральной общественности она была неприемлема в силу подчеркивания роли православия, постоянного внимания к вопросам церкви и религии, полемикой с конституционными настроениями, материализмом и т. п., для консерваторов разного оттенка – тем, как трактовала крестьянский вопрос, требованием свободы совести, свободы слова. Помимо прочего, будучи ежемесячным изданием, газета была «мировоззренческим органом», не сообщая о событиях, а преимущественно давая им оценку и помещая в контекст славянофильской мысли² – но размытость требований, заявляемых с ее страниц (связанных отнюдь не только и даже не столько с цензурными ограничениями, сколько с принципиальной позицией Аксакова о необходимости дать «свободе Земле», которая сама отыщет адекватную форму), не позволяли и принять ее позицию как некоторую практическую определенность (упреки такого рода были, пожалуй, самыми распространенными из числа раздававшихся в ее адрес). Это ощущение новой сложности, непригодности ранее считавшихся найденными ответов, затрагивающих едва ли не самые принципы, фиксировал Ю.Ф. Самарин в письме к Аксакову на новый, 1865 год: «Тому назад лет 10 или 15 как все казалось просто и легко: переехать из Петербурга в Москву, ослабить туго натянутые поводья, дать простор местной жизни, умственной и промышленной, – и мы думали, что жизнь заиграет сама собою. Теперь странно и вспоминать об этих увлечениях нашей молодости. Опыт доказал несостоятельность разрешений, которыми мы так долго довольствовались; все ступешвалось и слилось в какую-то бесцветную, дряблую, неосязаемую массу. Когда-то она окрепнет и примет определенный образ?» [Нольде, 2003: 528, письмо от 24.XII/5.I.1864/1865].

еще» [цит. по: Цимбаев, 1978: 121], а М.Ф. Раевскому, накануне начала последнего года издания «Дня», сообщал: «Устал я ужасно, тем более что лучшие мои сотрудники и приятели – или в Варшаве, или за границей, или бездействуют, и мне приходится не только выносить все на своих плечах, но и приплачивать карманом. Первый год была мода на “День” и потому подписчиков было очень много, т. е. за 3500, но на следующий же год все дворянство, рассердясь на меня отхлынуло и подписчиков было не более 2500, на этой цифре и остановилось. Не знаю, что скажет 1865 год; подписка идет так же, как и в прошлом году» [Аксаков, 1896: 86, письмо от 21.XII.1864]. Ограниченность средств приводила к тому, что даже самые близкие к лагерю «Дня» сотрудники переходили или стремились перейти в другие издания в том случае, когда для них журнальная деятельность была не досугом, а существенным источником заработка: так, Н.С. Соханская писала: «Вы даете за мелкие статьи и за корреспонденции, мне кажется, очень маленькую плату» [Аксаков, Соханская, 1897, № 8: 516, письмо от 23, 31.XII.1864], ранее пытаюсь через того же Аксакова пристроить свои произведения в «Эпоху» братьев Достоевских. Это означало своеобразный порочный круг: Аксаков нуждался в профессиональных сотрудниках, однако в то же время не мог их позволить по отсутствию средств, что приводило к падению качества публикуемых материалов, наполнению газеты «балластом», падению подписки – что в свою очередь делало издание уже прямо убыточным.

¹ Особого значения такого рода рассуждениям придавать, разумеется, не стоит – это были вольные фантазии человека, далекого от знакомства с положением дел в русской журналистике, в лучшем случае проходящие по разряду «благих пожеланий».

² М.Ф. Раевскому, 11.VI.1865: «<...> Моя газета не сообщает ни политических новостей, ни указов, ни движений по службе, – в ней нет готового содержания, а только развитие учения известной школы» [Аксаков, 1896: 87].

В определенном смысле можно сказать, что газета «умерла своей смертью», сыграв отведенную ей роль: к 1865 году Аксаков высказал большую часть того, что он имел сказать из возможного в цензурных рамках, ему удалось не только озвучить свою позицию, но и сделать ее заметной в пространстве публичной дискуссии¹. Дальше надлежало искать новые формы, что отчетливо осознавал сам редактор. Прервав на летние месяцы издание «Дня»² и отправившись в путешествие по Волге, откуда, через Крым и Киев, вернулся в Москву, он размышлял над тем, стоит ли продолжать издание – и если да, то как именно. Итогом стало компромиссное решение – в последнем номере газеты, выходящей уже при новом цензурном законодательстве, без предварительной цензуры, он объявлял, что со следующего года «День» начнет выходить шесть раз в год, в виде журнала. Никаких ясных планов на этот счет у самого Аксакова не было – он намеревался в ближайший месяц жениться на Анне Федоровне Тютчевой и провести первые месяцы новой жизни в подмосковном Абрамцево: опубликованное объявление было жестом, свидетельствующим о том, что публицистическую деятельность он в любом случае намерен продолжить – теперь она стала его «делом», его «профессией» и «призванием», а конкретные ее формы должны были определиться уже в дальнейшем.

«Только тишина отражает небо»

Как и многие из публично-деятельных, активных людей, Аксаков был внутренне закрытым человеком: публичное выступало для него пространством свободы – от самого себя. Свои чувства, настроения, переживания он постоянно переводил в общественный план, осмысляя их через «общее», как его проявление – это позволяло ему и проговаривать их, и находить им место, избавляющее от обращения на самого себя. Модернизируя высказывание, позволительно сказать, что он предпочитал психологическому социологическое объяснение – так, в зрелые годы, переживая сокращение круга знакомых, одиночество, его настаивающее, он обращался к обсуждению русской общественной жизни, говорил об ослаблении «интересов публичных» и т. п. – психологическое выступало материалом, подлежащим интерпретации, а никоим образом не самой интерпретацией.

В данном отношении славянофилы не были «романтиками» – в своих жизненных, поведенческих моделях они вырабатывали черты, близкие скорее последующему поколению «реалистов», равно как в поэзии оказались (в лице Хомякова и братьев Аксаковых) одними из первых представителей «гражданской лирики» (где расхождения с Некрасовым – преимущественно содержательные,

¹ Сомнения в возможности и необходимости продолжать «День» были у Аксакова и в 1864 году: так, он извещал Кошелева в письме от 22.X.1864 о решении издавать «День» в 1865 году, одновременно сообщая, что не надеется на хорошую подписку: «Статей присылается так мало, что я с величайшим трудом справляюсь с «Днем». Подписки ожидать хорошей нельзя – да, признаюсь Вам, я чувствую сам про себя, что я устал» [цит. по: Цимбаев, 1978: 122], а с кн. Е.А. Черкасской 19.X.1864 делился: «Я ведь остался почти один: с одним Беляевым о десную и с другим Беляевым о шую» [цит. по: Цимбаев, 1978: 76] (речь идет об И.Д. Беляеве и И.В. Беляеве, постоянных, но вполне бесцветных авторах газеты).

² Решение приостановить газету на летние месяцы, как признавал сам Аксаков, было поступком «странным и небывалым в летописях журналистики» [цит. по: Цимбаев, 1978: 83, письмо В.А. Елагину от 11.VI.1865], объяснявшееся тем, что «Передать газету мне было некому. Все мои сотрудники – не чернорабочие наемники, все более или менее баричи, т. е. люди, проводящие лето в деревне. Чижов уезжает для разведок как вести железную дорогу дальше до Ярославля [имеется в виду продолжение Троицкой железной дороги. – А. Т.], Самарин в Самару и т. д.» [Аксаков, 1896: 87, письмо к М.Ф. Равевскому от 11.VI.1865].

а не эстетические)¹: политическая романтика не переходила в романтическое жизнестроительство и страсть к романтическому вниманию к внутреннему миру, к бесконечным опытам самоанализа. Исключение в данном случае представляет лишь Константин Аксаков, отдавший этому типу поведения дань во времена своей молодости, – для прочих сфера «личного», «интимного» оказывалась закрытой или крайне ограниченной к сообщению вовне, способ ее проговаривания – апелляция к всеобщему, перевод в универсальные нормы и характеристики, стремление найти такую норму и разрешить конфликт на этом уровне. Привычное романтическое движение между «всеобщим» и «уникальным» не осуществляется – ход совершается только в одну сторону, от «индивидуального» ко «всеобщему».

Аксаковым это переживается как недостающее, то, по чему он тоскует, но и сам не переходит эту границу в общении с близкими людьми. Друзья его и приятели – это не интимно-близкие люди, граница в общении неизменна и отчетлива, что особенно заметно в письмах к сестрам, где основное содержание занимают те же темы, что и в передовицах Аксакова, а житейское за редким исключением не покидает области делового или непосредственно-бытового. Тем в большей мере это относится к переписке с чуть более «дальними» людьми – например, с другом детства князем Дмитрием Оболенским или с многолетним ближайшим знакомым, Юрием Самариним:

«<...> Сердцем я совершенно одинок и в своей семье и в кругу друзей. С друзьями я близко по единству направления и гражданских убеждений. С Самариним сердечной интимности не только у меня, но и у брата моего покойного – его сверстника и друга, никогда не было. Частная, личная, сердечная, даже светская жизнь Самарина была всего менее известна Хомякову и брату, – ее они и не касались...» [Аксаков, 1896: 141, письмо к А.Ф. Тютчевой от 28.VI.1865].

Аксаков подспудно объясняет это положение «извне», начиная разговор об особенностях Самарина – как причине отсутствия даже с ним «сердечной интимности», однако внешне здесь явно второстепенно. Характерно, что Аксаков, человек постоянно пишущий, в том числе в самых неподходящих для этого условиях², несколько раз пробовал вести дневник – жанр, столь распространенный в его время, – и ни разу эта попытка не оказалась сколько-нибудь долговременной, а единственным относительно развернутым текстом, написанным им в форме дневника, остались путевые заметки из второй заграничной поездки, 1860 года. Пробуя завести дневник в 1856 году в Николаеве, он пишет: «Хочу вести дневник. Не раз уже прежде принимался я за это дело, но оно мне всегда не удавалось. Конечно, лень была одною из причин неудачи, но главной причиной было сознание внутренней неискренности. *Вести задушевные записки, излагать в них все впечатления, ощущения, разнообразные переливы и движения души – я и*

¹ Впрочем, жесткость данной формулировки следует смягчить: «гражданское» для Ивана Аксакова – своего рода «легкий» жанр, тот род литературы, в котором ему проще высказываться. Со временем меняются и оценки – по мере того, как «дух времени» все более расходится со славянофильскими ожиданиями, Аксаков выше ценит «прежнюю» поэзию, относит себя к старой школе, определяя свои стихи как обращенные к немногим в современности, к тем, кто еще ценит лирическое. В письме к Ф.В. Чижову (ок. 1866) Аксаков писал, оглядываясь в прошлое: «Иногда поэзия брала свое, но я очищал ей поле преимущественно гражданского содержания» [Мотин, 2012b: 233].

² А.Ф. Тютчевой, 1.VII.1865, Алушта: «Сию теперь на станции, в станционном доме, сестра прилегла отдохнуть, а я вытащил свои письменные снаряды. Я это люблю. Я столько ездил по России и привык к этим остановкам на станциях: временное часовое жилище, – принесут самовар, и станет этот угол вдруг своим, так наполнишь, населишь его собой, своими думами и мечтами, – перо, чернила, бумага под боком – и весь твой мир тут, с тобой» [Аксаков, 1896: 145].

теперь считаю делом почти невозможным, по крайней мере для меня [курсив мой. – А.Т.]. Кто же пишет для себя? Ведь непременно имеешь в виду читателя, хотя бы после смерти. А в виду читателя непременно сплутуешь, порисуешься, будешь думать о его будущей оценке и труда и самого характера автора записок» [цит. по: Анненкова, 1998: 234–235, запись от 15.VI.1856]. Е.И. Анненкова, комментируя данный опыт ведения дневника, отмечает: «<...> “Внимание к себе, постоянное самосозерцание”, воспитываемые дневником, кажутся Ивану вредными. Поэтому и в данной записи он предпочитает говорить не о “внутренней жизни”, а о “внешней” – о тех, с кем «приходится сталкиваться». <...> Сама форма дневника, задуманного И. Аксаковым, <...> предопределяла неудачу, точнее, неисполнение замысла. Собираясь описывать то, что имеет “интерес общий”, Аксаков обрекал себя на дублирование писем к родным: именно в них он нашел некую почти идеальную меру совмещения “общего” и “внутреннего”» [Анненкова, 1998: 235]. Характерно и то, что аксаковский текст непременно обращен к читателю – причем читателю внешнему, по умолчанию предполагая отсутствие потребности в «выговаривании» для самого себя, себя в качестве адресата текста – даже себя во временном отдалении. Акт письма, как и акт устной речи – непременно акт социальной коммуникации, сообщения другому, функция самокоммуникации здесь не признается (хотя зачастую именно такими будут многочисленные письма Аксакова – начиная хотя бы с уже упомянутых поздних «политических» писем сестрам, весьма далеким от того, что занимает их брата: в них он проговаривает важное для себя, формулирует свою позицию, как правило, отнюдь не рассчитывая на обсуждение и отклик – и оттого не переживая по поводу долгого промежутка между таким письмом-статьей и ответом корреспондента: это акт сообщения, а не разговора, от корреспондента и не ожидают развернутого сообщения, беспокойство вызывает возможная утрата письма, не дошедшего до адресата, а не отсутствие отклика на сказанное в нем).

Тяготясь одиночеством, нуждаясь в близком человеке, Аксаков в то же время оказывается неспособен сделать первый шаг – ему легче в пространстве общественного, обсуждения принципов и гражданского пафоса. При этом (в отличие от Константина) для него и семейного пространства¹, находимого в семействе сочувствия и соучастия, не доставало. Он не умел и не хотел так отделиться-обособиться от семейства как брат Григорий, но в семье и он ощущал себя несколько чужим² – так, в письме к Ф.В. Чижову (ок. 1866),

¹ В случае с Константином – как и с большинством сестер – аксаковское семейство оказывалось «слишком плотным коконом», устранявшим потребность выходить за его пределы: П.А. Флоренский писал о Константине, что того «связывала [с отцом] какая-то странная, “кровная” дружба и мистическая связь» [Розанов, 2010: 174, письмо к В.В. Розанову от 20.VI.1915]. Смерть Сергея Тимофеевича в результате оказывается не только потрясением для родных, но и фактически уничтожает стержень семейства, с этого времени лишь «доживающего», большинство членов которого оказывается неспособно создать собственные семьи, начать новую жизнь. Иными словами, «начало семейственное» здесь оказывается началом «замыкающим», не допускающим вхождения «чужих»: свою семью смог создать лишь Григорий, наименее «аксаковский» из детей Сергея Тимофеевича и Ольги Семеновны, а два других члена семейства, предпринявших попытку создать семью – Мария (1831–1906) и Иван, – были относительно более «дистанцированы» от семейного круга. И если Сергей Тимофеевич желал замужества дочерей (ничего для этого, впрочем, не предпринимая), то Ольга Семеновна писала Ивану 5.VIII.1844: «Не желаю замужества дочерям, нет, и желать невозможно – разумеется, отвращать их от того не стану, если б, к удивлению, нашелся жених» [цит. по: Пирожкова, 2013: 29].

² Напряжение ощущали и другие члены семейства – так сестра Вера оставила в дневнике от 18.XI.1854 примечательную своей недоговоренной тревогой запись о приезде Ивана в Москву из путешествия для участия в украинских ярмарках: «В чтении писем, газет, толках и разговорах с Иваном прошел весь день, слава Богу, благополучно, часто

раскрывая свой взгляд на поэзию и на собственное творчество, он несколько раз возвращался к теме непризнания себя родными: «Знаете ли: несмотря на литературный характер семейного быта нашего, уважения к личности члена семьи, как художника, не было никогда. А эта личность имеет свои законные требования! Но предъявлять их я никогда не смел» [Мотин, 2012b: 233]. И далее, на бытовом уровне: «Из службы, державшей меня по необходимости в отдалении от Москвы, в положении, совершенно независимом от семьи и от знакомых, я попал в Москву, в дом, где не имел даже своей комнаты» [Мотин, 2012b: 234], затем, вновь обращаясь к своему положению в глазах родных: «Даже имея значение человека практического в кругу людей отвлеченных, ученых, – не будучи подготовлен предварительным образованием и жизнью ни к какому ученому труду, ни к какой ученой специальности, следовательно – будучи не вправе предъявлять и требований на досуг, нужный для ученого; подорвав в самом себе поэтический дар сомнением, отчасти ложным взглядом на искусство, наконец, диссонансом, внесенным в мою жизнь всем неестественным ее ходом, я поневоле должен был принять на себя деятельность внешне-литературную нашего круга. Очень тяжело положение человека, не подготовленного, попавшего в круг людей готовых, ученых; положение ученика в обществе профессоров, но не как ученика, а как равного. От него требуется также деятельность и производительность учения, а ему дать нечего: занять положение “поэта”, “художника” я не мог, потому что не имел на это права, потому что оно слишком смешно и потому что это “звание” требует совершенной свободы» [Мотин, 2012b: 234].

Славянофилы, столь высоко ставившие начало «семейственное», сами оказываются в большинстве случаев людьми, не способными воплотить это начало в жизнь, либо теми, на ком «семейственная» история заканчивается. Так, Аксаков ощущает себя «последним в роду», тем, кто завершает, а не начинает новое: «Есть, правда, у меня родной племянник, сын брата, но он всего трех лет, а брат мой Григорий – добрый, честный, славный, дельный человек – развился и жил всю жизнь вне семьи и вне московских духовных интересов. У него нет вовсе дарований, сделавших нашу семью известною, и поэтому-то он и держал себя постоянно дальше от Москвы, занимаясь хозяйством и службой» [Аксаков, 1896: 141, письмо к А.Ф. Тютчевой от 28.VI.1865]. Помолвленный с Тютчевой, он пишет уже в прошлом времени, передавая свое недавнее состояние: «Я уже заранее распорядился всеми своими бумагами на случай смерти и тосковал, что некому мне передать всех преданий нашего литературного дома, всего этого богатого архива литературной, умственной и гражданской деятельности» [Аксаков, 1896: 141], а спустя полтора месяца, когда помолвка стала уже известна в близком кругу, делился с невестой надеждами: «Как бы мне хотелось, чтоб ты могла покороче познакомиться с маменькой и чтоб она могла суметь передать тебе все, все предания Аксаковского рода, все семейные поверья и обычаи, изустную Семейную Хронику, наконец, сказания о прежнем, уничтожающемся быте, о бытовой жизни православия, об явлениях этой старой, ныне вымирающей жизни. А ты могла бы это передать в свою очередь нашим детям, если Бог нам их даст» [Мотин, 2012b: 199, письмо от 14.VIII.1865].

Эти слова Аксаков напишет в 1865 году, а о состоянии опустошенности, рухнувшего почти в одночасье, после смертей отца и брата (и смерти сестры Ольги, которая вскоре последует), дома отчетливо свидетельствует, например, письмо Веры Сергеевны своей кузине М.Г. Карташевской, в Петербург:

казалось, что действуешь во сне. Оно и лучше, что свидание произошло среди такой суеты и волнения посторонними предметами. Дай Бог, чтоб все было хорошо» [Аксакова, 2013: 89].

«Сегодня утром была я у обедни, и потом почти все время до обеда разбирала бумаги, привезенные из Абрамцева; просто страшно становится и душа не выносит. <...> Сколько не кончено, сколько недосказано, сколько означено и набросано мыслей как программ будущих трудов, сколько намеков на новые открытия в области мысли и науки. Сколько недокончено стихов, недописано слов <...> Душа возмущается при виде всего этого, неужели *не должно* было этому исполниться, высказаться для пользы всех. Зачем Господь отвергает добро, к которому стремится человек <...> Истина не пропадет, так думал Константин, должны мы так думать, но трудно верится, особенно когда помотришь вокруг на эту бездарность, понимаешь безучастие всех, новое поколение так дряно и мелко и равнодушно, что от него ничего нельзя ожидать. Что было прежде, какая была жизнь, какие дары Божии рассыпаны в нашем кружке, а теперь такое безлюдье, такая пустота. Недавно мы читали в рукописи биографию или, лучше сказать, материалы для биографии, состоящие из писем Ив. Вас. Киреевского; что это был за человек, какой нравственный строй и требования всего кружка <...>. <...> Мы не можем себя возбудить к жизни, когда у нас отнято все, чем мы жили. Жалко смотреть на Ивана, он так одинок, не с кем разделить мысли, сообщить, поговорить. Ему бы надобна деятельность» [цит. по: Анненкова, 1998: 213, письмо от 15.II.1861].

В «деятельность» Аксаков уйдет «с головой», на четыре года погрузившись в издание «Дня», однако это не отменит других мыслей и планов – если «День» замышлялся как «хранение памяти» славянофилов, то не менее важным оказывалось сохранение быта, устройство своей жизни. В самом начале 1860-х годов это носило внешне несколько курьезный, программный характер: он дважды, в 1862 и 1864 годах безуспешно сватается к дочери А.С. Хомякова, Марье Алексеевне, в 1862 году делает и первое предложение Анне Федровне Тютчевой. Мария Хомякова отказала Аксакову, ссылаясь на необходимость «заботиться о воспитании сестер, да и знают они друг друга недостаточно» [Давыдова, 1998: 178] – учитывая то, насколько экстравагантно было сделано предложение (как своего рода «династический» славянофильский брак), отказ Хомяковой был предсказуем. Сам Аксаков рассказывал об этих попытках в письме к А.Ф. Тютчевой 24.VI.1865:

«Я даже, по желанию матери и сестер, делал в эти года попытки жениться на одной девушке, с которой буквально не говорил и 10-ти слов, но которую, впрочем, я знал за умную и строго-нравственную, хотя совершенно холодную, но делал эти попытки таким образом, что они не могли удасться: нужно было предварительное сближение, но на него у меня не доставало ни охоты, ни сил. «Вот если бы дело шло об NN, – говорил я и сам себе, и матери, и даже сестрам, так и раздумывать нечего было бы, – но приходится мне теперь искусственно сочинять себе жизнь и устраивать “домашнее счастье” – и дело не удасться, и девушки, на которых мне указывают, инстинктивно чувствуют это...» [Аксаков, 1896: 128].

С Анной Тютчевой Аксаков познакомился в 1858 году¹, 27 февраля, о чем она записала в дневнике: «Вчера у меня был Иван Сергеевич Аксаков; это один из наших так называемых московских славянофилов.

¹ С отцом ее, Федором Ивановичем Тютчевым, Аксаков познакомился еще 25.VII.1843 в Москве, в доме Елагиных, однако за пределы формального знакомства их отношения вышли только во 2-й половине 1850-х годов [Гачева, 2004: 444–445]. В то же время появляются и упоминания Анны, сначала в контексте разговоров про отца, его взгляды и поэзию – так, говоря о стихах Тютчева «По случаю приезда австрийского эрцгерцога на похороны императора Николая» («Нет, мера есть долготерпенью...»), Вера записывает в дневнике: «<...> Стихи сильные и видно, что искренние (это, вероятно, общее впечатление) и, конечно, дойдут до государя, тем более что дочь Тютчева любима новой государыней» [Аксакова, 2013: 160, записи от 8.III.1855].

Я до сих пор никогда не могла уяснить себе значение, которое придают слову “славянофилы” – его применяют к людям самых разнообразных мнений и направлений. <...> У нас есть двоякого рода культурные люди: те, которые читают иностранные газеты и французские романы, или совсем ничего не читают; которые каждый вечер ездят на бал или на раут, добросовестнейшим образом каждую зиму увлекаются примадонной или тенором итальянской оперы, с первым же пароходом уезжают в Германию на воды и, наконец, обретают центр равновесия в Париже. Другого рода люди это те, которые ездят на бал или на раут только при крайней необходимости, читают русские журналы и пишут порусски заметки, которые никогда не будут напечатаны, судят вкривь и вкось об освобождении крестьян и о свободе печати, время от времени ездят в свои поместья и презируют общество женщин. Их обычно называют славянофилами, но в этом разряде людей существуют бесконечные оттенки, заслуживающие изучения. Людей, принадлежащих к первой категории, наоборот, легко определить в целом: это безвредные люди, не вызывающие неудовольствия князя Долгорукова, шефа жандармов, в свою очередь человека в высшей степени безвредного и благонамеренного. <...>

Мы много беседовали, во-первых, о новом сочинении его отца “Детские годы Багрова-внука”; с точки зрения психологической, это настоящий шедевр. <...>

Мы беседовали далее о многих крупных событиях, заполнивших последние три года, о лицах, игравших в них роль, сами того не желая, иногда и не подозревая, из чего Аксаков вывел заключение, “что премудрость Божия в глупости совершается”. Он спросил меня, записываю ли я свои воспоминания, имея возможность видеть так много разнообразных людей и вещей. Я ответила ему, что не делаю этого потому, что, поддаваясь слишком сильно впечатлению данной минуты, вообще слишком страстная, я, перечитывая написанное через две недели, сама себе кажусь смешной. Он советовал мне преодолеть это чувство, потому что через двадцать лет эта эпоха, все значение которой мы в настоящее время не можем оценить, будет представлять огромный интерес, и все воспоминания, относящиеся к ней, будут драгоценны. Я обещала ему исполнить это, но не знаю, насколько сдержу свое слово» [Тютчева, 2008: 391–393, запись от 28.II.1858].

Анна оказалась одной из обретенных славянофилами союзников на «дамской половине» дворца, сочувственно относившихся к московским взглядам (проводником которых в первую очередь была влиятельная графиня А.Д. Блудова, близкая с Хомяковым с конца 1840-х годов) – однако с Аксаковым сближение происходит медленно, приходясь на 1861–1862 годы. Старшая дочь Тютчева имела при дворе не самую приятную репутацию (так, одним из ее прозвищ было «ёрш», данное за особенность характера – резкого, вспышкающего, прямолинейного). Если Аксаков принадлежал к патриархальному московскому быту – отдаляясь и сближаясь с ним, но будучи его частью от рождения и воспринимая эту принадлежность с начала 1860-х годов как осознанную идентичность, превратив ее в сознательную позицию, то Тютчева была осколком «случайного семейства», того хаотического и человечески-печального образа существования, что был создан ее отцом, отношения с которым, особенно в ее молодые годы, у Анны были весьма сложные – а с мачехой такими во многом и оставались (в сочетании страстной привязанности и обидчивости) даже тогда, когда дочь научилась принимать своего отца. Родившись в 1829 году от первого брака Тютчева (с Элеонорой Федоровной Петерсон, урожденной графиней Ботмер), она получила образование в Мюнхенском королевском институте, приехав в Россию лишь восемнадцатилетней девушкой, а в 1853 году Тютчеву удалось добиться ее назначения фрейлиной к цесаревне, с которой

Анна довольно быстро сблизилась¹ (в дальнейшем став воспитательницей ее младших детей и сумев завоевать их привязанность). Ее незаурядный ум и характер оценил Аксаков, писавший, в частности, Н.С. Соханской, гостившей в то время при дворе (по приглашению императрицы) и опекаемой Анной Федоровной, в самый момент последовавшего объявления о приостановке «Дня» и отстранения Аксакова:

«Вы приглашаете меня в Петербург. Это могло бы только испортить дело. К Головнину я ни за что бы не поехал, к Валуеву тоже; аудиенций Государь не дает; сношений со Двором я избегаю да и никаких не имею. Только желание видеть Анну Федоровну заставляет меня, скрепя сердце, входить в тот или другой дворец: там невыносимо тяжело и душно. Да и весь Петербург производит на меня такое же впечатление. Один вид этой среды, самонадеянно и самодовольно правящей Россиею, один вид чиновников и гвардейцев, генералов и целого роя маленьких государственных мужей – наводит тоску (изо всех чувств, возбуждаемых Петербургом, самое мирное). Петербург – это нарыв России; с нарывом можно примириться и оценить его пользу *только тогда, когда он лопнет*. Ну, а теперь все еще нарывает!» [Аксаков, Соханская, 1897, № 6: 502, письмо от 9.VII.1862].

Упоминаниями Анны Федоровны пестрит его переписка 1862 года [см., напр., о московском визите царской фамилии: Аксаков, Соханская, 1897, № 6: 531, письмо к Н.С. Соханской от 10.XI.1862], тогда же он делает и первое предложение, возобновив попытку в 1864 году. Об отношениях, последовавших за вторичным отказом, он вспоминал в письме уже к невесте от 28.VI.1865: «Помните, недавно вы спрашивали меня – почему я вам так долго не писал и вообще так мало писал весь прошлый год. <...> Вы не хотели почему-то принять объяснение, которое я выразил вам тогда в намеках. А между тем это действительно так. Я чувствовал, что переписка меня увлекает. Получив ваше письмо, я испытывал непреодолимое желание отвечать тотчас и много, и наконец отдался бы весь переписке... Зачем? К чему? – спрашивал я себя. Разве не дано было мне знать через Шеншину², что этого быть не может, разве на некоторые знаменательные мои письма не получал я ответы, красноречивые своей короткостью или тем, что они вовсе на письмо не отвечали. Мне было несколько досадно на себя – тратиться даром и играть роль только корреспондента. Помните, я намекнул вам в письме, что я у вас 99 корреспондент. Но малейшее теплое выражение вашей дружбы вызывало меня тотчас на отзыв. Одним словом, так как мне пришлось отказать от исполнения своей мечты и с великою болью в сердце принять это решение, то я даже и в Петербург поэтому не домогался ездить и даже поставил себе вопрос – видеться ли с вами в Москве, откладывать ли свой отъезд. Я чувствовал, что увидя вас снова, я подниму со дна души все, что там было уложено» [Аксаков, 1896: 139–140]. Аксаков, решив приостановить на лето издание «Дня» и решить дальнейшую судьбу газеты, собирался в поездку вместе со своей сестрой Софьей по Волге, через Крым в Киев (куда, поклониться святыням, стремилась сестра) – однако, получив письма от Анны, задержался: «Ваши последние два письма ко мне из Петербурга (которые я никому не показывал) уже перед приездом вашим сделали то, что могло сделать свидание, – а увидавши вас, я почувствовал, что участь моя решена. Я не надеялся на тот

¹ Основанием к этой близости был, помимо прочего, и не «дворцовый» склад характера самой императрицы, склонной к уединению, несколько меланхоличной по натуре.

² Шеншина Евгения Сергеевна (урожд. Арсеньева, 1833–1873), жена Николая Васильевича Шеншина (1827–1858), полковника, флигель-адъютанта, сестра Василия Сергеевича Арсеньева (1829–1915), переводчика и библиофила, близкая приятельница А.Ф. Тютчевой и гр. А.Д. Блудовой. Аксаков познакомился с ней в 1856 году, когда она приехала на юг к мужу, бывшему вместе с Аксаковым членом комиссии кн. В.И. Васильчикова [Аксакова, 2013: 482; Аксаков, 1994: 435].

исход, который совершился, но принял такое решение, чтоб не иметь другой жены, кроме NN, и ждать ее хоть 20 лет. Но впрочем в последние дни я уже чувствовал, что между нами устанавливается такая интимность исключительная, которая связывает души неразрывно, которая дает права друг над другом, которая может иметь только один известный исход. Возникло то, что выражено отчасти в следующих четырех стихах, написанных сначала для “Бродяги”, для выражения отношений Алешки к Парашке, но потом мною вычеркнутых, так как они не шли к простоте рассказа и русского крестьянского быта:

В толпе ли встретятся случайно,
При многолюдной болтовне, –
Они, связуемые тайной,
Как будто все наедине!»

[Аксаков, 1896: 140]

Хотя Аксаков намеревался в первую очередь жениться, выбор невесты был вторичен по отношению к базовому решению, но встреча с Анной Федоровной и ее ответ, данный ею в Москве, в конце первой декады июня, оказалась для него благословением: он нашел ту, с которой смог делиться своим, «внутренним», тем, в чем раньше не было для него близкого человека.

Аксаков, четыре года издававший «День», а до того – «Русскую Беседу», «Парус», бесконечно деятельный, все время озабоченный то «православием в Западном крае», то папской энцикликой, то письмом галичан, то известиями о новых законопроектах и т. д. и т. п. – до бесконечности, – Аксаков вырывается вдруг из этой суеты, уже от невозможности так жить дальше, от усталости моральной, и, сделав важнейший шаг, обручившись с Анной Федоровной (тайно, она далеко не сразу сообщит об этом даже отцу и мачехе), едет в путешествие по Волге, почти каждый день отсылая письма невесте. И посреди этой усталости в нем просыпается лирик, новый голос в письмах, почти лишенных привычного пафоса, лишь изредка, по застарелой привычке (как от усталости сбиваешься на обороты, не требующие усилий мысли) вновь раздражающийся какой-то журнальной тирадой, сам обрывая себя, – совсем не тот Аксаков, о котором Толстой, видящий с беспощадной точностью, записал в дневнике 8.I.1863, после очередной встречи: «Самодовольный герой честности и красноречивого ума».

«Как хорошо иногда бывает, когда молчишь, когда не раскидываешь свою думу направо и лево, когда она вся уходит в душу и проникает собой всего человека» [Аксаков, 1896: 109, письмо к А.Ф. Тютчевой, в ночь с 15 на 16.VI.1865, за Симбирском].

День спустя он пишет: «Я совершенно мирен, спокоен, счастлив, но чего-то однако ж все не достает моему счастью. Мы мало говорили, я не успел видеть радостного или по крайней мере светлого лица – только минутами, и предо мной часто проносится ее смущенное лицо, и звучит слово: “Страшно”. Как бы хотелось мне вознесть ее душу над всяким страхом – превыше страха и праха и исполнить ее веры – в себя, если не в мои силы, то в мои стремления. Мне непременно нужно рассказать ей многое из моей жизни» [Аксаков, 1896: 111, в ночь с 16 на 17.VI.1865]. Понимая, что его письма звучат слишком лирически и боясь реакции Тютчевой, Аксаков стремится успокоить ее: «Пожалуйста, не сочтите меня попавшим в положение 18 летнего мальчика, испытывающего в первый раз известное чувство. Нет, это пишет вам 42-летний мужчина, которому это “известное” чувство к несчастью слишком хорошо знакомо, который испытал его в высшем градусе страсти, испепелившей много хорошего в душе, страсти им прокливаемой и осуждаемой. Все это не то. Не страсть говорит теперь во мне, во мне ничто не бушует, я не горю

в жару, оставаясь даже наедине сам с собою, я не стыжусь и не краснею за себя, за свою слабость, за свой плен, как бывало. Но теперь все мое существо и существование сосредоточено в вас, как в своем собственном, естественном центре, в то же время с чувством не только свободы, – но и освобождения. Последнее слово вам не совсем понятно, потому что вы не знаете всех обстоятельств моей жизни. Вы не знаете, вы не подозреваете, как дружба с вами началась собственно тогда, когда я наконец одержал победу над... как бы выразиться – над своего рода демоном. Надо вам сказать, что все раза, как я испытывал чувство “любви” – это было скорее несчастьем для меня: ни об одном не сохраню я не только отрадного воспоминания, но стараюсь изгладить всякое воспоминание. Я попадал на такого рода женские существа, которые противоречили мне, моим убеждениям, моему идеалу вполне, и которые я дерзко хотел вести к добру, но которые меня вели к злу и к измене всей нравственной стороны моего бытия. Любовь являлась для меня самым мучительнейшим диссонансом и минуты наслаждения, которые она давала, были минуты самозабвения, – минуты падения, после которых немедленно же восставал протест моего лучшего я – или Ангела хранителя. Я раздваивался, я чувствовал, что кто-то недоволен мною, кто-то зовет меня без умолку <...>» [Аксаков, 1896: 126–127, письмо от 24.VI.1865]. Опасаясь перлюстрации писем и стремясь до времени скрыть свою помолвку, корреспонденты прибегают к конспирации, вряд ли, впрочем, способной обмануть кого бы то ни было, кто проявил бы интерес к их переписке, – Аксаков пишет Анне о своих чувствах к некой NN, ей знакомой: «Как я люблю NN, как я люблю ее, люблю с каждым днем больше и глубже, не тою любовью, какою я любил в 22 года, или позднее в 30, 35 лет, любовью, в которой для меня, для моей гордости было много унижительного, чего я стыдился и совестился перед собой и перед людьми. Я чувствовал свое рабство, плен, зависимость, власть слепой страсти, – ничего подобного я теперь не чувствую, а точно будто вошел в обладание сокровищем, которое долго и напрасно искал. Тревоги нет во мне, – тревоги, которую я считал себе уже прирожденною, которую я привык даже полагать источником для меня вдохновения, симптомом жизни, залогом силы. Я надеюсь, что с NN я обрету в себе другой источник жизни, силы и творчества» [Аксаков, 1896: 119, письмо от 19.VI.1865].

Едва выехав из Москвы, Аксаков пишет: «Мне кажется, что во мне есть такая сила такой любви, которая не может не сказаться силою и другой душе» [Аксаков, 1896: 116, в ночь с 17 на 18.VI.1865], а добравшись до Киева и уже собираясь в обратный путь, в Петербург, где они объявят о своем решении, делится с Анной: «Поверите ли, что на меня находили сомнения в чувстве NN ко мне. Помните, я сказал NN, и она с этим вполне согласилась, что люблю ее больше, чем она меня, – вспомните, что многое осталось недосказанным и недоразъясненным, и что два с половиной года тому назад я был отвергнут ею, и все мои теплые письма вызывали холодные ответы. Поверите ли – покаюсь вам в этой слабости – я в письмах NN, полученных мною во время моего путешествия, старательно подбирал все малейшие черты ее *личного* чувства ко мне, независимо от того христианского благорастворения, которое произвело в ее душе решение на подвиг, обречение себя *службе и покорности* другому человеку ее любящему (но одинаково ли любимому)? И нельзя сказать, чтоб NN была расточительна на такие проявления, и я хвалил ее за это, и тем более они были дороги, я видел для себя это проявление не в словах любви, а в деле мира и тишины, водворившихся в ее сердце» [Аксаков, 1896: 170–171, письмо от 17.VII.1865]. Забывая всякую конспирацию, он пишет: «Понимаете ли вы теперь ваше значение для меня? <...> Я вам говорил, что жизнь моя черства, хотя я работаю много, тружусь для общей пользы, очистил жизнь свою внеш-



ним образом вполне, но нет “благоухания” в душе, нет гармонии, нет любви. Любви не в пошлом смысле, когда человек гостит где-то, вне своей собственной души, но любви, как нравственной силы пребывающей в человеке» [Аксаков, 1896: 129, письмо от 24.VI.1865]. И вновь: «Зачем так поздно? Зачем не 15, не 10 лет тому назад сошелся я с вами? О если б я тогда сошелся, не было бы того опустошительного периода в моей жизни с 53 по 59 год, которые я так бы охотно вычеркнул из жизни, и которые по-видимому лишают меня права поминать о моем идеале, – хотя только благодаря ему я и спасся. <...> И тем более ценю я как *милость* Божию посылаемое мне счастье, что счастье это свято, не разлучает, а сближает меня с Богом. Идеалы наши общие – вот что важно. Жизнь наша шла разными путями до сих пор, много потратили мы в ней сил духа, но не все они растратились, еще сбереглись кое-какие силы, и как после кораблекрушения – мы спаслись на берег – израненные, изувеченные и спасли *свое знамя* – идеалы! Нам приходится теперь с вами жить *задним числом*! Грустно! Это не весна уже, не молодость! Что делать, нет в моей душе ни прежней свежести, ни цельности, ни чистоты. Но все что сбереглось в ней хорошего, возьмите и возлелейте, точно также, как и я возьму и уврачую вашу больную душу и предадим сами себя и друг друга Христу» [Аксаков, 1896: 174–175, письмо от 17.VII.1865].

Собираясь в поездку с целью дать себе отдых и подумать о планах дальнейшего издания «Дня», Аксаков, получив согласие Анны, уже думает только о том, как бы поскорее развязаться с газетой: «Мне необходимо добавить подписчикам второе полугодие, – в противном случае мне пришлось бы возвращать подписчикам тысяч б денег, которых у меня нет. Уговорить же кого-нибудь окончить “День” без меня, я не вижу возможности»¹ [Аксаков, 1896: 119, письмо от 19.VI.1865]. «Должен сказать вам по правде, что путешествие мое не имеет много смысла теперь. Голова моя полна совсем иным. <...> Я еду и спрашиваю себя – зачем это делаю, зачем добровольно удаляюсь, и делаю даже большую трату. Все как-то странно вышло. Я чувствовал потребность уединиться, удалиться, но не надолго же. Да, наконец, голова работает и над изысканием средств привести дело к желанному концу, а изыскание это вовсе не легко. Но пусть будет что будет. Мне теперь опять мирно и ясно на душе» [Аксаков, 1896: 104, в ночь с 14 на 15.VI.1865]. Он уже мысленно оставил издание газеты и занят планами на будущее, делясь своими впечатлениями и мыслями от «Старого режима...» Токвиля: «согласитесь, что книга в роде Токвилевой для русской истории политической, общественной, бытовой необходима. Вы верно читали Токвиля. Вот если б пришлось бросить “День” и уединиться в деревню – и тема для труда готова» [Аксаков, 1896: 108, в ночь с 15 на 16.VI.1865].

В записке, датированной 2/14.VII.1865, Анна размышляла о принятом ею решении и возможном отношении отца:

¹ Действительно, планы Аксакова на передачу «Дня» или устройство коллективной редакции были отвергнуты. Ю.Ф. Самарин писал 15.X.1865: «<...> Брат мой Дмитрий переслал мне письмо от сестры, которым она уведомляла меня, что ты поджидал моего приезда для решения участи “Дня”, что наступал срок объявления на будущий год, что мне хотят предложить взять редакцию на себя или вступить в триумвират с тобою и с Чижовым, что, во всяком случае, нужен ответ безотлагательный. Вот почему я поспешил тебя известить о моем отречении. Твое последнее письмо несколько не изменяет моего намерения. По многим и многим причинам желательно бы было сохранить “Дня”, все это так; но ты знаешь очень хорошо, что в деле редакторства тебя никто заменить не может, и если журнал не пошел под твою редакцию (если не окупился, то значит, не пошел), то нечего и помышлять о поддержании его. <...> Лучше прекратить его и с честью сойти со сцены, чем влачить плачевное существование. Мало ли есть другого дела» [Нольде, 2003: 533–534, см.: Аксаков, Соханская, 1897, № 9: 29–30, письмо к Н.С. Соханской от 2.XI.1865].

«Он сделал мне ряд колких замечаний о девицах, которые не выходят замуж, и о невыносимости и глупости моего существования при дворе. Тем не менее, я не испытываю ни малейшей потребности поделиться с ним тем, что сейчас занимает меня. Наоборот, мне неприятно думать о той минуте, когда я должна буду сказать ему об этом. Сперва он будет очень рад, потому что ему хочется видеть меня замужем и он очень досадует, что я столько лет запряжена в однообразное, тусклое, исполненное тяжелого труда существование. Но как только минует первая минута удовлетворения, он захочет применить к Аксакову и ко мне, к нашим взаимным чувствам, к нашим характерам, к нашим планам на будущее скальпель своего анализа, всегда тонкого и остроумного, но чрезвычайно тлетворного, потому что анализ этот зиждется на принципе исключительно человеческого, скептического и негативного. О том, что составляет основу наших чувств и наших отношений, я никогда не смогу и не захочу ему сказать, так как он этому не поверил бы и не понял бы этого. В браке он не видит и не допускает ничего, кроме страсти, и признает его приемлемость лишь пока страсть существует. Никогда он не признал бы, что можно поставить выше личного чувства долг и ответственность перед Богом в отношении мужа к жене и жены к мужу и что понятый таким образом брак освящен и способствует нравственному возвышению. Я никогда не могу говорить о своем сокровенном с отцом, и потому, несмотря на привязанность его ко мне и мою к нему, несмотря на все хорошее, что я признаю в нем, я чувствую себя так глубоко и непоправимо чуждой ему» [ЛН, т. 97, кн. 2: 375].

Аксаков, вернувшись на пару дней в Москву, 10.VIII.1865 отправился в Петербург к Анне за окончательным решением (согласие на брак своей фрейлины должна была дать императрица), о чем уже догадывался Тютчев, в ответ на вопрос сестры, Дарьи Ивановны («А что вы скажете, если ваше предположение оправдается?»), остривший: «Ах, я сказал бы, что, если Анна выйдет замуж, тогда даже Восточный вопрос не будет меня более тревожить» [ЛН, т. 97, кн. 2: 376, письмо Д.И. Сушковой к Е.Ф. Тютчевой от 30.VII/11.VIII.1865]. О разговоре с будущим тестем Аксаков рассказывал Анне: «Утром Китти дала мне знать о приезде твоего отца и о том, что он хочет быть у меня вечером. Я поспешил его предупредить и, несмотря на совет Катерины Федоровны приехать в 6 часов к Сушковым, отправился прямо в гостиницу – немного смущенный, признаюсь тебе, так что я не тотчас взшел в дверь. Но Федор Иванович рассеял сам все мои недоразумения. Когда ему доложили обо мне, он выбежал ко мне навстречу и с рыданием бросился мне на шею. Он столько выразил тут любви к тебе, столько боли сказалося в нем от твоих страданий, от страданий твоей жизни, столько веры высказал он, что серьезная моя к тебе привязанность способна излечить твои раны и дать тебе наконец мир и счастье, что я был сильно тронут. Мне хотелось, однако, знать, как он понимает наши отношения, и потому я, между прочим, ввернул тихие слова, что, конечно, тут нет уже ничего похожего на очарование молодости, на поэтические иллюзии, на вешние цветы и т. д. Да, сказал он, разумеется это не весна, но это такое серьезное счастье! Затем, так как мы оба были взволнованы, то мы предпочли оставить Вашу особу в покое и перейти к разговорам о состоянии России, о моем путешествии, о недоразумениях в ней царствующих и пр., и проговорили очень живо часа два, и потом расстались в самых дружеских простых отношениях» [ЛН, т. 97, кн. 2: 378, письмо от 3/15.IX.1865].

Когда новость о предстоящем браке была объявлена, обрученные получили, разумеется, положенные поздравления от друзей и близких. Юрий Самарин, хорошо знакомый с невестой, писал Аксакову: «Поздравляю тебя от всей души и обнимаю крепко. Да, ты взялся за ум в пору. Никто лучше меня этого не чувствует. Не добро есть человеку едину быти. <...> Постепенного охлаждения и очерствения сердца, этого совершенно неизбежного последствия одиночества – ты не испытываешь. <...>

Еще раз от всей души радуюсь за тебя, радуюсь и тому, что могу еще радоваться от всей души чужой радости, хотя чувствую в то же время, что для меня это – потеря, потеря незаменимая и последняя. Последнего товарища я теряю. А[нна] Ф[едоровна] всегда была для меня существом неразгаданным. Я уж не говорю об уме; но меня поражала эта изумительная чуткость совести, этот постоянный, неумолкающий протест против неправды и лжи, никогда в то же время не переходящий в ожесточение. Мы тоже протестуем и ожесточаемся, то есть уступаем и подчиняемся. Гораздо больше энергии в протесте без ожесточения. Ты, однако, мастак держать свои дела в тайне. В этом случае я тебя не виню: дело касается не тебя одного» [Нольде, 2003: 533, письмо от 15.X.1865]. Однако куда большим было чувство изумления от этой новости, которое неподражаемо передал Толстой в письме к своей тетке, Александре Андреевне (заступавшей на место Анны Федоровны при дворе в должности воспитательницы младших детей царствующей четы):

«<...> Брак (не брак, а это надо назвать как-нибудь иначе, надо приискать или придумать слово), пока – брак А. Тютчевой с Аксаковым поразил меня, как одно из самых странных психологических явлений. Я думаю, что ежели от них родится плод мужского рода, то это будет тропарь или кондак, а ежели женского рода, то российская мысль, а, может быть, родится существо среднего рода – воззвание или т. п. Как их будут венчать? И где? В скиту? В Грановитой палате или в Софийском соборе в Царьграде? Прежде венчания они должны будут трижды надеть мурмолку и, протянув руки на сочинения Хомякова, при всех депутатах от славянских земель произнести клятву на славянском языке. Нет, без шуток, что-то неприятное, противуестественное и жалкое представляется для меня в этом сочетании. Я люблю Аксакова. Его порок и несчастье – гордость, гордость (как и всегда), основанная на отрешении от жизни, на умственных спекуляциях. Но он еще был живой человек. Я помню, прошлого года он пришел ко мне и неожиданно застал нас за чайным столом с моими *belles soeurs*¹. Он покраснел. Я очень был рад этому. Человек, который краснеет, может любить, а человек, который может любить, – всё может. После этого я разговорился с ним с глазу на глаз. Он жаловался на сознание тщеты и пустоты своего газетного труда. Я ему сказал: “Женитесь. Не в обиду вам будь сказано, я опытом убедился, что человек неженатый до конца дней мальчишка. Новый свет открывается женатому”. Вот он и женился. Теперь я готов бежать за ним и кричать: я не то, совсем не то говорил» [Толстой, Толстая, 2011: 272–273, письмо от 26 или 27.XI.1865].

Alexandrine, вполне оценив блеск письма («я смеялась от души») и признавая расхожесть такого мнения, оказалась, однако, прозорливее племянника: «Понимаю ваше впечатление, вы выразили его лучше других, но многие, даже большинство чувствовало на этот счет так же². Верьте или не верьте, но тут много хорошего, почтенного, высокого и обещающего счастье» [Толстой, Толстая, 2011: 276, письмо от 20.XII.1865].

Венчались Аксаков и Тютчева в Москве, 12 января 1866 года, в домовый церкви Св. митрополита Филиппа (принадлежавшей М.Л. Боду), после чего новобрачные уехали в подмосковное Абрамцево. Навестив молодоженов, Тютчев сообщал жене: «Я вернулся от Аксаковых (из Абрамцева), где провел две ночи. У меня осталось очень хорошее впечатление. Анна просто счастлива, совершенно успокоилась – без деланности. Он вполне симпатичен, так естественно добр, прям и предан... Я люблю этого человека именно вследствие полного различия наших натур. Мы вели бесконечные разговоры...» [Тютчев, 2002: 379,

¹ Свояченицами (*фр.*).

² Так, И.С. Тургенев писал А.И. Герцену 10/22.V.1867: «<...> Иван Сергеевич женился на первой Всероссийской лампадке <...>».

письмо от 2.V.1866]. Со временем Тютчев все более высоко ценил Аксакова, раскрывающегося перед ним со своей непубличной стороны, демонстрирующего цельность натуры. То, что в Аксакове зачастую воспринималось как поза извне, оборачивалось если не естественностью, то во всяком случае не одним лишь публичным образом, а глубиной и тотальностью переживания; к тому же помимо своего политического интереса, помимо взглядов общественных, он открывался повседневностью, той плотностью существования – соединением тактичности, московских житейских обыкновений и человеческой прямоты, что открывало в Аксакове черты, вызывавшие не только уважение, но и привязанность. Дочери Екатерине Федоровне Тютчев писал 8.XI.1868: «Это натура до такой степени здоровая и цельная, что в наше время она кажется отклонением от нормы. У древних был очень меткий образ для характеристики таких цельных и в то же время мягких натур – они сравнивали их с дубом, в дупле которого пчелы оставили свои медовые соты» [ЛН, т. 97, кн. 1: 471].

Брак даст Аксакову многое – житейскую устойчивость, близость другого человека, к которому он испытывал полное моральное доверие, с которым делился и советовался в самых сложных обстоятельствах своей жизни. Марья Алексеевна Хомякова, к которой ранее сватался Аксаков, вспоминала: «Какая милая и умная была Ан[на] Фед[оровна], ее письма удивительно хороши, но не дают понятия об блеске ее ума, и как умственно она дополняла Ив[ана] Серг[еевича], который без ее влияния впал бы в отвлеченность и идеализм. Доброты у нее было много» [Хомякова, 1998: 184]. Супруги не были – и не стали с годами – единомышленниками: общеизвестен отзыв Б.Н. Чичерина об отношении Анны Федоровны к «славянам», но у них было согласие в главном для них – в представлении о нравственном долге и долге гражданском. Мечта о семье не состоится – беременность Анны будет трудной, что естественно в ее возрасте, для той эпохи уже весьма почтенном (38 лет), ребенок будет переносен, и после мучительных родов, продолжавшихся 80 часов, в конце которых прибегнут к кесареву сечению, будет вынут уже мертвым – к большому горю отца умерший ребенок окажется мальчиком. «Матушка, для которой хоронить обратилось уже в обычное дело, схоронила и внучка, которого так страстно ждала» [Аксаков, 1896: 93, письмо к М.Ф. Раевскому от 22.XI.1867]. Анна будет тяжело болеть (в первую очередь диабетом), заполняя недостающее семейное пространство общественными хлопотами, устройством приюта для девочек-сирот после Балканской войны. Аксаков обратит свои надежды на племянника Сергея (1861–1910), который успеет сделать многое, чтобы разочаровать отца и дядю¹. Некоторым возмещением за разочарование в племяннике станет в последующем деятельность дочери брата Григория, Ольги (1848–1921), которая много сделает для сохранения и публикации аксаковского архива. (По проекту духовной, составленной Анной Федоровной, этот архив в полном объеме должен был перейти к ней. Однако до своей внезапной кончины в 1889 году Анна Федоровна не успела составить и утвердить окончательный вариант завещания, и в результате единственной официальной наследницей стала ее сестра, Дарья Федоровна [см.: Пирожкова, 2013b: 272–273].) Так, трудами Ольги (и при помощи

¹ После тяжелых семейных склок, женившись против воли отца во время траура по матери, Сергей примирился отчасти с отцом и дядей, но надежд на него возлагать уже не приходилось: «Сереза определился в 1 Д[епартамен]т Сената, но как-то плохо служит и по словам Гриши не умеет стоять на собственных ногах, а прибегает все к протекции отца, – писал ему: “Приезжай, устрой меня на службе” и т. д. Все эти приемы и для Гриши и для меня – просто дикие. Никогда нашему отцу не приходилось никого за нас просить и устраивать нас на службе!

Такова судьба нашей семьи, – мы исчезаем бесследно, без потомства» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 56. Л. 59 об. – письмо И.С. Аксакова к М.С. и Е.А. Томашевским от 7.XI.1884).

двоюродного племянника И.С. Аксакова, В.С. Россоловского) будет выпущен 3-й том писем Аксакова к родным [Аксаков, 1892] и опубликован – сначала с купюрами (1908, в журнале «Минувшие годы»), а затем целиком (1913) – дневник В.С. Аксаковой [Пирожкова, 2013b; об аксаковском семействе и потомстве см.: Гудков, Гудкова, 1991: 114–130].

Литература

- [Аксаков И.С.] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Исследование украинских ярмарок. Ополчение. Путешествия за границу. Том третий и последний. Письма 1851–1860 гг. М.: Тип. М.Г. Волчанинова, 1892.
- [Аксаков И.С.] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 2: Письма к разным лицам. Т. IV: Письма к М.Ф. Раевскому, к А.Ф. Тютчевой, к графине А.Д. Блудовой, к Н.И. Костомарову, к Н.П. Гилярову-Платонову. 1858–1886 гг. СПб.: Издание Императорской публичной библиотеки, 1896.
- Аксаков И.С., Кошелев А.И. Из переписки двух славянофилов: А.И. Кошелев и И.С. Аксаков. 1861–1878 // Голос минувшего. 1922. № 2. С. 59–90.
- Аксаков И.С., Ламанский В.И. Переписка двух славянофилов // Русский мысль. 1916. № 9. С. 1–32; 1916. № 12. Отд. II. С. 85–114; 1917. № 2. С. 82–89; 1917. № 3–4. С. 56–70.
- [Аксаков И.С.] Письма И.С. Аксакова к А.Д. Блудовой / Вступ. ст. и примеч. В.Г. Бухерта // Российский Архив. 2001. Т. XI. С. 337–348.
- [Аксаков И.С.] Письма И.С. Аксакова к М.А. Максиминовичу // Русский Архив. 1908. Т. СХХVI. Вып. 3. С. 354–362.
- [Аксаков И.С.] Письма И.С. Аксакова к Н.А. Елагину // Русский Архив. 1915b. Т. СХХХVII. Кн. 1. Вып. 1. С. 5–13.
- Аксаков И.С. Письма к родным. 1849–1856 / Изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова. М.: Наука, 1994.
- Аксаков И.С., Соханская Н.С. Переписка Аксаковых с Н.С. Соханской (Кохановской) // Русское обозрение. 1897. № 4, 5, 6, 8, 9.
- Аксаков И.С., Страхов Н.Н. Переписка / Сост. М.И. Щербакова. Оттава: Группа славянских исследований при Оттавском университете; М.: Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН, 2007.
- Аксакова В.С. Дневник. Письма / Сост., подгот. текстов, вступ. и сопровод. ст., коммент. Т.Ф. Пирожковой. СПб.: Пушкинский Дом, 2013.
- Анненкова Е.И. Аксаковы. СПб.: Наука, 1998.
- Бадалян Д.А. Речь И.С. Аксакова о Берлинском Конгрессе и его последующая ссылка в письмах и документах июня – ноября 1878 г. // Цензура в России: история и современность: Сб. научных трудов. СПб.: Российская национальная библиотека, 2013. Вып. 6. С. 361–408.
- Бадалян Д.А. Цикл статей И.С. Аксакова об обществе: история цензуры и неопубликованные страницы // Третьи Аксаковские чтения: Материалы межвузовской научной конференции, посвященной 220-летию со дня рождения С.Т. Аксакова. (Ульяновск, 21–24 сентября 2011 года) / Сост. и отв. ред. Л.А. Сапченко. Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2011. С. 103–113.
- Бычков С. Начало разногласий в кружке славянофилов. (Письмо И.С. Аксакова Ю.Ф. Самарину) // Славянофильство и современность: сборник статей / Отв. ред. Б.Ф. Егоров, В.А. Котельников, Ю.В. Стенник. СПб.: Наука, 1994. С. 243–251.
- Гачева А.Г. «Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется...» (Достоевский и Тютчев). М.: ИМЛИ РАН, 2004.
- Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. С.Т. Аксаков. Семья и окружение: Краеведческие очерки. Уфа: Башкирск. кн. изд-во, 1991.
- Давыдова Е.Е. Предисловие // Хомякова М.А. Воспоминания об А.С. [Хомякове] // Хомяковский сборник / Отв. ред. Н.В. Серебрянников. Томск: Водолей, 1998. С. 173–181.
- Дудзинская Е.А. Славянофилы в пореформенной России. М.: Институт российской истории РАН, 1994.
- Литературное наследство. Т. 97: Федор Иванович Тютчев. Кн. 1 / Отв. ред. С.А. Макашин, К.В. Пигарев, Т.Г. Динесман. М.: Наука, 1988.
- Мотин С.В., ред. Аксаков Иван Сергеевич: Материалы для летописи жизни и творчества. Вып. 4: 1861–1869 гг.: Редактор-издатель газет «День», «Москва» и «Москвич». А.Ф. Аксакова (Тютчева) и И.С. Аксаков. Ч. 2: 1861–1862 гг. / Сост. С.В. Мотин, И.И. Мельников, А.А. Мельникова; под ред. С.В. Мотина. Уфа: УЮИ МВД России, 2012.
- Мотин С.В., ред. Аксаков Иван Сергеевич: Материалы для летописи жизни и творчества. Вып. 4: 1861–1869 гг.: Редактор-издатель газет «День», «Москва» и «Москвич». А.Ф. Аксакова (Тютчева) и И.С. Аксаков. Ч. 2: 1862–1866 гг. / Сост. С.В. Мотин, И.И. Мельников, А.А. Мельникова; под ред. С.В. Мотина. Уфа: УЮИ МВД России, 2012b.
- Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. М.: Эксмо, 2003.
- Пирожкова Т.Ф. «Жизнь как трудный подвиг» (В.С. Аксакова, ее дневники и письма) // Аксакова В.С. Дневник. Письма / Сост., подгот. текстов, вступ. и сопровод. ст., коммент. Т.Ф. Пирожковой. СПб.: Пушкинский Дом, 2013. С. 5–80.

Пирожкова Т.Ф. История издания дневника В.С. Аксаковой 1854–1855 гг. и выдержек из дневника 1860 г. // *Аксакова В.С.* Дневник. Письма / Сост., подгот. текстов, вступ. и сопровод. ст., коммент. Т.Ф. Пирожковой. СПб.: Пушкинский Дом, 2013b. С. 272–292.

Розанов В.В. Собр. соч. Т. 29: Литературные изгнанники. Кн. 2: П.А. Флоренский, С.А. Рачинский, Ю.Н. Говоруха-Отрок, В.А. Мордвинова / Под общ. ред. А.Н. Николюкина; сост. А.Н. Николюкина; коммент. А.Н. Николюкина, С.М. Половинкина, В.А. Фатеева. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010.

Самарин Ю.Ф. 1840–1876 гг.: Статьи. Воспоминания. Письма / Сост. Т.А. Медовичева. М.: Терра, 1997.

Тесля А.А. Запрещенная 6-я статья И.С. Аксакова из цикла «О взаимном отношении народа, общества и государства» // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 2.

Толстой Л.Н., Толстая А.А. Переписка (1857–1903) / Изд. подготовили Н.И. Азарова, Л.В. Гладкова, О.А. Голиненко, Б.М. Шумова. М.: Наука, 2011.

Трубецкая О., кн. В.А. Черкасский и его участие в разрешении крестьянского вопроса: Материалы для биографии. М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1904. Т. I. Кн. 2. Ч. 3–4.

Тютчев Ф.И. Россия и Запад / Сост., вступ. ст., перевод и коммент. Б.Н. Тарасова. М.: Культурная революция; Республика, 2007.

Тютчев Ф.И. «Ты, ты, мое земное провиденье...»: Роман в письмах / Сост. и коммент. Г.В. Чагин. М.: Книга и бизнес, 2002.

Тютчева А.Ф. Воспоминания. При дворе двух императоров / Сост., вступ. ст., пер. с фр. Л.В. Гладковой. М.: Захаров, 2008.

[*Хомяков А.С.*] Полн. собр. соч. Алексея Степановича Хомякова. 3-е изд., доп. М.: Университетская тип., 1900. Т. I.

Хомякова М.А. Воспоминания об А.С. [Хомякове] / Публ. и коммент. Е.Е. Давыдовой // *Хомяковский сборник*. Т. I / Отв. ред. Н.В. Серебренникова. Томск: Водолей, 1998.

Христофоров И.А. Судьба реформы: Русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М.: Собрание, 2011.

Цимбаев Н.И. И.С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М.: Изд-во Московского университета, 1978.

Шенрок В.И. С.Т. Аксаков и его семья: Биографический очерк // Журнал Министерства народного просвещения. 1904. № 12.

Аннотация. Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886), сын Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859) и брат Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860), является не только ярким представителем интереснейшего по своему своеобразию, красоте духовного облика аксаковского семейства, но и одной из наиболее значительных фигур в истории славянофильской мысли. В особенности это относится к периоду после 1856–1860 годов, когда один за другим умерли «основоположники» – в такой ситуации Ивану Аксакову, до этого занимавшего наиболее «западнические», «еретические» позиции по отношению к мнениям славянофильского кружка, пришлось взять на себя роль хранителя и выразителя наследия своих друзей и родных. Наивысшей расцвет как публицистической силы, так и общественного влияния Ивана Аксакова приходится на 1860-е годы, когда он был издателем и/или редактором газет «День» (1861–1865), «Москва» и «Москвич» (1867–1868) и сделался не только влиятельной фигурой в глазах общественного мнения, но и одним из тех, кто формировал последнее, закладывая основания постреформенной политической публицистики. Переплетению политического, журналистского, семейного и личного посвящены публикуемые главы книги «“Последний из ‘отцов’”»: биография Ивана Аксакова» (СПб.: Владимир Даль, 2015). В них автор стремился показать Ивана Аксакова в многообразии его жизненных ролей, отразить цельность и масштаб его личности.

Ключевые слова: И.С. Аксаков, быт русского дворянства XIX века, славянофильская журналистика, славянофильство, цензура.

Andrey Teslya, Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, Department of Philosophy and Culture, Pacific State University, Khabarovsk. E-mail: mestr81@gmail.com

«The Last “Founding Farther”»: The Biography of Ivan Aksakov (fragment)

Abstract. Ivan S. Aksakov (1823–1886), the son of Sergey T. Aksakov (1791–1859) and brother of Konstantin S. Aksakov (1817–1860), is not only an outstanding representative of Aksakov family, whose members are famous for their most interesting distinctive qualities and spiritual virtue, but is also one of the most important figures in the history of Slavophil philosophy. It was mostly evident in the period of 1856 – 1860s, when the “founders” of that school had died one after another, and in that situation Ivan Aksakov, who tended to regard the opinions of the Slavophil society from the standpoint of his “western” and “heretical” views, had to take upon himself the responsibility to preserve and develop the legacy of his friends and relatives. The publicism and social influence of Ivan Aksakov reached its maximum in 1860s, when he was the publisher and/or editor of several journals – “Den” (Day) (1861–1865), “Moskva” (Moscow) and “Moskvich” (Muscovite) (1867–1868) – and became not only one of the most influential figures for the public mind, but also one of those forming same and laying foundation for the further development of post-reform political publicism. The chapters from the book «The Last “Founding Father”»: The Biography of Ivan Aksakov” (St. Petersburg: Vladimir Dal, 2015) published here deal with the intricate interlacing of the political, journalistic, family and personal aspects of his life. The author tries to show Ivan Aksakov in full variety of his vital roles, emphasizing his integrity and personal repute.

Keywords: I.S. Aksakov, Russian Nobility Life in the 19th Century, Slavophil Journalism, Slavophil Philosophy, Censorship.